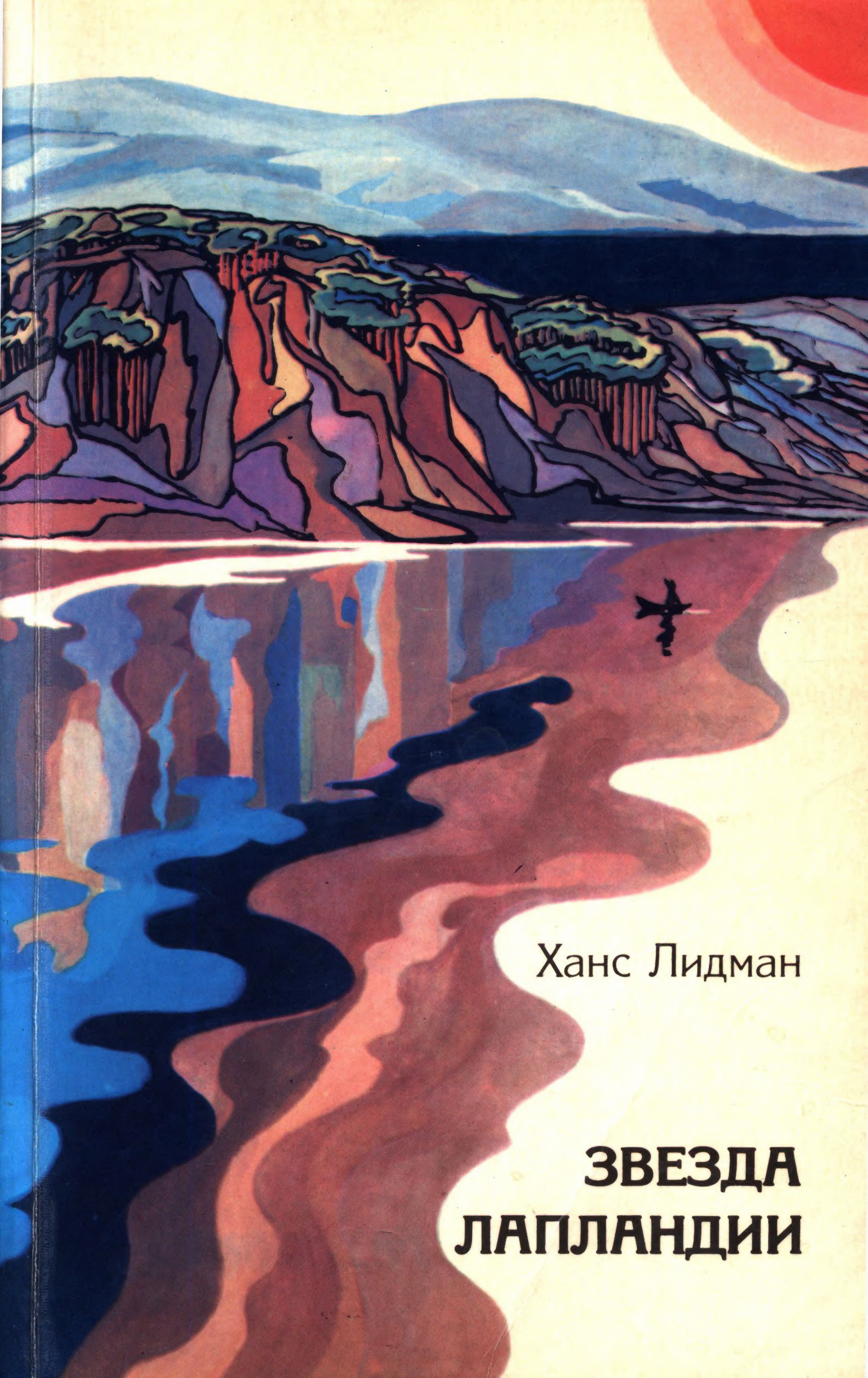


Ханс Лидман

ЗВЕЗДА ЛАПЛАНДИИ





Лососевый проток



Звезда Лапландии



Аня-дочь сколтов



Ночь у стремнины Куккола



Длинная ночь Ниило



Встреча на мосту Ивало



Большой лосось



Пожарный дозор



Юовна



Ханс Лидман

ЗВЕЗДА ЛАПЛАНДИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»
Москва 1976

91 (И4)
X 19

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Hans Lidman
LAPPLANDS STJERNE

Oslo, 1971

Сокращенный перевод с норвежского и послесловие
доктора филологических наук
В. ЯКУБА

Научная консультация
кандидата исторических наук
Т. ЛУКЬЯНЧЕНКО

Художник
А. Ф. СЕРГЕЕВ

Х $\frac{20901\text{-}041}{004(01)\text{-}76}$ БЗ-74-12-75





Лососевый проток

Старая Магган и ее внук Уула сидят в лодке на Васиккасельке, северо-восточной оконечности озера Инари. Магган гребет. Маленькая лодчонка то и дело подпрыгивает, качаясь на волнах. До берега километров десять. Там вдали видны островки, но все они такие низкие, что почти сливаются с линией горизонта.

Магган посасывает трубку. Табак уже весь истлел, и трубка совсем остыла. Вместо дыма она втягивает капельки влаги, и хотя на вкус это страшная горечь, но все же немного бодрит.

Магган гребет уже не первый час, но ей не привыкать: она выросла в этих местах, большую часть жизни провела на воде, и чаще всего на веслах. Она знает, где водится рыба.

Дует встречный ветерок, правда не очень сильный. Иногда она озирается, затем чуть разворачивает лодку, ориентируясь по какой-нибудь примете где-то далеко за кормой.

Магган маленькая, щуплая, немного сгорбленная. У нее сильные руки и крепкая спина, за долгие годы в лодке она натерла себе жесткие мозоли. Мышцы ее упруги, и она не знает, что такое усталость. С детских лет Магган познала жизнь в бедности и нищете.

Сзади в лодке сидит внучек Уула, ему уже двенадцать, он тоже с ранних лет приучен к жизни на воде. На кисть его намотана леска. Мальчик то и дело зевает.

Последние два часа никто из них не проронил ни слова. Но когда лодка приближается к островкам Васиккасаарет, Магган сбавляет ход и пронзительно кричит:

— Внимательно, Уула!

Уула снимает с кисти витки лески и, взявшись за нее обеими руками, сидит наготове и выжидает. Он делает так, как велит бабушка, потому что знает, что та всегда права.

Магган озирается, глаза беспокойно блуждают, головой то и дело вертит по сторонам. Лодка замедляет ход, плавно качаясь на волнах. Большая самодельная блесна опускается ко дну.

Уула больше не зевает. Оба сидят в напряженном ожидании.

Бац!

Вот она, мощная поклевка. Леса натягивается, два резких рывка отдают в руку мальчика. Теперь начнется борьба. Уула отпускает лесу, потом выбирает несколько метров, как его учила Магган. Но сражаться с такой рыбой ему еще не доводилось. Должно быть, это огромный лосось.

Минут через пятнадцать рыба вымучена и всплывает на поверхность у самой лодки. Это крупный красивый самец, чешуя его ярко блестит на солнце. Правой рукой Уула выхватывает нож, напряженно выжидая момента, чтобы нанести удар.

Заметив в руках внука нож, Магган невольно подумала о том, какую роль нож играл в ее жизни. Не тот, конечно, что держит сейчас Уула, а ее собственный, нож отца и нож ее сына. Это грустная и совсем особая история.

В молодости отец ее, Саммели Нуора, был самым умелым рыбаком в северной части озера Инари. Спуская за лодкой блесну, он почти всегда добывал большого лосося. О его ловкости и удачливости ходили легенды. Сам же он распускал слух, будто смазывает блесну такой мазью, перед которой не может устоять лосось. Но мазь та была, конечно, выдумкой, чтобы скрыть настоящий секрет успеха.

Отец часто брал и Магган на рыбалку, особенно в то время, когда хорошо клевал лосось. Подальше от берега, а также в местах, где рыбы не было, ей позволяли сесть на весла, но, как только лодка приближалась к Васиккасаарет, отец всегда брал весла сам. И уж если лосось не клевал у Васиккасаарет, значит, он не клевал нигде.

Но и в этом месте рыба, конечно, не стояла где угодно. Крупные лососи водились в определенных местах, и это всегда было для Магган загадкой. Но уже через год она научилась запоминать места, где клюнула рыба, примечала их по камням и большим соснам на берегу. Она сидела тихо-тихо, ожидая команды отца. Когда клевал крупный лосось, первый рывок

мог быть столь сильным, что оставлять лесу намотанной на кисть было просто опасно.

Но вот однажды Магган поторопилась и, решив, что они уже подошли к нужному месту, освободила лесу до того, как отец подал ей команду.

Отец не сказал ни слова, сделал вид, что ничего не заметил. Но когда дня через два то же самое повторилось снова, он нахмурился, и это чуть омрачило радость от пойманной рыбы. Он и теперь ничего не сказал, только подумал: в один прекрасный день Магган выйдет замуж, быть может, за бедного рыбака-саама. И если она будет знать, где расположен лососевый проток, то приплывет сюда и станет ловить крупную рыбу, да по неосторожности еще покажет сюда путь другим. Но этот лососевый проток — его собственное открытие, и он хочет, пока жив, сохранить его для себя. Когда наступит час, Магган и ее муж получат это место, но не раньше. Проток настолько узок, что двум лодкам тут не развернуться, да и к запасам рыбы тоже надо относиться бережливо. На глубине здесь в середине лета скапливается мелкая рыбешка, а там, где бывает мелкая рыба, как раз и ходит лосось. Но, попав на крючок, лосось поднимает столько шума, что спугивает мелкую рыбу, да и других лососей тоже, и потому отец ходил сюда только через день и брал не больше чем по лососю. Это был его маленький прииск, самый надежный источник дохода в летнее время года. И если вблизи появится лодка, отец проплывает мимо протока, возвращаясь домой без добычи. Ведь для рыбака-саама важнее всего знать хорошие места. Без этого в наши дни ему могут грозить голод, а то даже и смерть.

В глубине протока такое сильное течение, что использовать сеть невозможно. Лосось, клюнувший в тот день, оказался очень сильным и выносливым; он так сопротивлялся, что Саммели Нуора был вынужден заняться им сам. Подняв наконец лосося на поверхность, он обнаружил, что крючок сидит у самого хвоста. Такое иногда случается. Рыба клюет, но промахивается, резко разворачивается, и крючок цепляется за хвост. Саммели расстроился, ведь рыба так сопротивлялась, что он рассчитывал увидеть здоровенного лосося, который принесет ему хороший доход, на самом же деле рыба оказалась совсем обыкновенной.

Большинство саамов, промышляющих рыбной ловлей на озере Инари, суеверны. Поймать лосося на крючок за хвост — дело неестественное. Тут что-то есть от нечистой силы.

Лично Саммели в колдовство не верил. Он был старый и опытный рыбак, много рыб за свою долгую жизнь подцепил он вот так за хвост и хорошо понимал, в чем тут дело. Однако в тот день он почему-то решил, что здесь замешан леший. И вину свалил на Магган.

С того дня он не брал ее больше с собой, отправляясь

ловить на поддев. Саммели сам садился на весла, а лесу держал в зубах. Или же брал с собой жену. Но даже ей он не решался рассказать про тайну лососевого протока.

Прошло несколько лет. Саммели Нуора продолжал ловить рыбу на блесну, тщательно оберегая свой секрет и сохраняя репутацию лучшего рыбака северных районов Инари. Шло время, и Магган достигла брачного возраста. Она дружила с парнями, но с некоторых пор в воскресенье и в праздники ее все чаще видели с Матти, сыном рыбака-саама, который владел еще и стадом оленей.

Саммели эта дружба не нравилась. Конечно, жить за счет оленеводства неплохо, хотя жизнь эта далеко не из легких, но в таком случае надо иметь большое стадо, такое, чтобы оно могло прокормить семью. А вокруг Инари пастбища очень скудны, и оленеводам надо подаваться дальше на север. В этих же местах они еще и рыбачат, иначе не проживешь. Но такое сочетание — оленеводство и рыболовство — дело весьма тяжелое, и нередко бывает так, что и за оленями присмотр недостаточный, и на рыбалку остается мало времени.

К этому прибавилась еще и старая вражда между обеими семьями. Как-то раз у отца Матти исчез олень. Обнаружив убитое животное, отец решил, что это дело рук Саммели, но тот не был виноват. И хотя разговоры об олене вскоре прекратились, Саммели затаил в душе обиду и не упускал случая это показать.

Когда Матти пришел однажды к Саммели и, поболтав часа два о том о сем, сказал наконец, что они с Магги хотели бы пожениться, Саммели сделал хорошую мину при плохой игре. Угостив гостя, он поинтересовался, сколько у того оленей, и Матти ответил, что через несколько лет он сможет жить за счет своего стада. Тогда они с Магган, возможно, переедут к северу, поближе к Утсйоки, там много хороших пастбищ. Саммели был приятно удивлен и даже подумал, что Магган, возможно, сделает хорошую партию.

Осенью сыграли свадьбу — без шума, без ссор, прежняя вражда вроде была забыта. Но даже на свадьбе между семьями царила напряженность, сердечности не было. Все старались не говорить ни об охоте, ни о рыбной ловле. Саммели был мрачен, ходил среди гостей замкнутый и молчаливый, крепко стиснув зубы.

Матти выстроил себе ко́ту * недалеко от места, где жили родители, и молодожены справили новоселье. Зима выдалась суровой. Выпало много снега, и стояли лютые морозы. Олени никак не могли добраться до корма, к тому же беспрестанно докучали волки. И когда с наступлением весны Матти пересчи-

---

* Ко́та — жилище саамов из жердей пирамидальной формы, крытое дерном.— *Примеч. науч. конс.*

тал своих животных, то обнаружил, что за зиму потерял почти половину стада. То ли их загрызли волки, то ли хищники так разогнали оленей, что часть животных просто заблудилась,— этого Матти не знал, и он сутками не снимал лыж, странствуя в поисках своих животных. То тут, то там ему попадались мертвые олени, но только часть из них раньше принадлежала ему. Большинство же пропавших оленей исчезло бесследно.

В это трудное и неспокойное время Магган ждала ребенка. Роды наступили преждевременно, когда Магган была дома одна. Схватки начались внезапно, пойти к ближайшим соседям, свекру и свекрови она просто не решилась. И родила ребенка в одиночестве, в ужасных муках. Перерезав ножом пуповину, перевязала ее жилой и, едва не теряя сознания, вся в крови, каким-то чудом завернула ребенка в мягкую шкуру молодого оленя. Потом впала в забытье и ничего не помнила, пока не очнулась. Услышала крик ребенка и увидела Матти, который сидел рядом и прикладывал ей ко лбу снег. У очага хлопотала свекровь, купая ребенка. Это был крупный, отлично сложенный мальчик.

Все окончилось хорошо, без осложнений, и через неделю Магган была здорова.

Как только сошел лед, Матти начал ловить рыбу — теперь его гнала нужда. Потеряв часть стада, он стал больше рыбаком, чем оленеводом. Все это было нелегко. Олени всегда влекли его гораздо больше, да и везло ему на рыбалке, наверное, мало, потому что ловил он без радости и неохотно. Но что-то надо было делать, чтобы прокормиться. Рассчитывать на свежее оленье мясо можно не раньше поздней осени, просить же помощи у отца или тестя он не хотел, для этого Матти был слишком горд. Уж раз он женился и имеет ребенка, то прокормить семью обязан сам, не падая духом даже в самые мрачные дни.

Случалось, конечно, и в его немногочисленные сети попадалась рыба, но ее было так мало, что едва хватало на нужды самой семьи. О продаже не могло быть и речи — запасы провизии с прошлого года постепенно таяли. На блесну же он не взял ни одного лосося, хотя эта рыба является особенно ценной и ее легче всего продать. К середине лета положение стало критическим: уже две недели они с Магган питались одной только рыбой. Правда, свекровь давала им немного молока.

— Жизнь тогда была невыносима,— рассказывала Магган много-много лет спустя.— И вот как-то утром, едва взошло солнце и озеро покрылось мелкой зыбью, мы сели в лодку. Мальчугана тоже взяли с собой. Я сказала Матти, чтобы он греб к Васиккасаарет.

Матти пробовал протестовать — это, мол, слишком далеко. Так оно, конечно, и было, не меньше десяти километров, а грести Матти не любил.

По пути туда, близ небольшой шхеры, мы поймали рыбу весом примерно с килограмм, и настроение у Матти поднялось.

Когда мы подошли к Васиккасаарет, я сказала Матти, что сама сяду на весла. Он удивился, но ничего не ответил. Других лодок поблизости не было, видно, ни отец и никто другой в тот день близ Васиккасаарет не рыбачил.

Я обогнула острова, чтобы подойти к лососевому протоку с той стороны, откуда обычно заходил отец. Так мне было легче ориентироваться.

И все же найти проток было не так просто. Раза два я проскакивала мимо, снова начинались поиски. Но вот обнаружила приметный островок, и тогда мне оставалось лишь вести на него лодку, пока она попадет в створ двух высоких сосен. Как раз там и начинается лососевый проток.

Я замедлила ход, и блесна ушла на глубину. Матти удивился, что блесна стала такой тяжелой. Не знаю, догадался ли он, что там, на глубине, было сильное течение. И я сказала ему так же, как обычно говорил отец:

— Теперь осторожно, Матти!

Только я произнесла эти слова, как рыба клюнула. Это был превосходный лосось, весом более шести килограммов. Матти с трудом поднял его в лодку. Когда же рыба оказалась на дне лодки, он не поверил собственным глазам и даже спросил, не научилась ли я колдовать.

Матти уговаривал меня половить еще на том же месте. Но я хорошо помнила, что отец никогда не брал тут больше одной рыбы сразу, хотя, конечно, несколько лишних лососей ему бы очень пригодились. И я поступила так же, как отец. И хотя Матти протестовал, я прямиком направилась домой.

За того лосося мы получили хлеба, соли и муки. На следующий день Матти ушел в лес к оленям, но день спустя мы снова отправились на Васиккасаарет. Я сидела на веслах, Матти держал лесу. На этот раз нам тоже повезло, хотя лосось попался и не такой крупный, как в прошлый раз.

Я снова ничего не рассказала мужу. Просто не решилась. К тому же я боялась, что нас обнаружит отец, и тогда разразится скандал. Отец такой горячий, и ссориться с ним опасно. Матти, конечно, понимал, что именно тут, на маленьком пятачке, в середине лета стоит лосось. И он, очевидно, догадывался, что как раз отсюда отец привозил свои знаменитые уловы. Было видно, что Матти старается найти ориентиры, по которым позднее смог бы обнаружить это место, но я отгребла в сторону еще до того, как лосось оказался в лодке, и когда, прикончив рыбу, Матти освободил блесну, мы уже были за пределами протока.

Матти ни о чем меня не спрашивал. Видно, читая мои мысли, он догадался, что это была тайна, о которой знали только Саммели Нуора и его дочь и которую никому нельзя поведать.

Но вместе с тем он должен был понять, что однажды, когда отец уже не сможет больше рыбачить, лососевый проток станет нашим и будет таким же верным источником дохода, настоящей золотоносной жилой, как много лет он служил отцу. Но об этом он, конечно, не обмолвился ни словом.

Прошло несколько дней, и Матти снова захотелось на озеро. Я же колебалась, опасаясь повстречать отца. Тогда Матти заявил, что пойдет один. «Что же, я не против, только не ходи на Васиккасаарет, это опасно».

Матти ничего не ответил, я же весь день волновалась, думая о том, что история с оленем все еще не забыта, а Матти наверняка пойдет на проток, где может повстречать отца.

Случилось так, как я и предполагала. Матти поплыл к Васиккасаарет и там встретился с отцом. Что произошло между ними, никто не знает и никогда, наверное, не узнает.

Когда Матти в обычное время не возвратился домой, я забеспокоилась. С каждым часом беспокойство мое нарастало, и посреди ночи мне стало вдруг так жутко, что я не выдержала и отправилась к свекру. Он ничего не знал про лососевый проток, и я, конечно, ни словом о нем не обмолвилась, но по моему виду он понял, как мне страшно и как я боюсь, что с Матти на озере что-то случилось. Свекор пошел на берег и сел в лодку. Я сказала, чтобы он плыл на Васиккасаарет.

В ту ночь я осталась у свекрови. Если бы Матти вернулся, он догадался бы, что я пошла к его родителям. Они жили совсем близко, я часто ходила к ним, а свекровь навещала меня. И я была уверена, что, возвратившись, Матти заберет меня домой.

Я так и не сомкнула глаз, все время ждала и ждала. Какие только мысли не лезли в голову! Ведь я знала, как вспыльчив и опасен бывает отец, если кто-то затронет его интересы. Когда мой сын появился на свет, я провела нелегкую ночь, но эта ночь была куда труднее. Меня все время мучили недобрые предчувствия: Матти, несмотря на все мои предупреждения, поплыл в лососевый проток, там его застал отец, старая вражда вспыхнула с новой силой, и случилось что-то страшное, непоправимое.

Эта ночь была самой долгой и тяжелой в моей жизни.

Свекровь тоже не смыкала глаз, то и дело посматривая на меня пристально и тревожно. Она, конечно, очень волновалась, но старалась мне выразить свое тепло и утешение.

Свекор возвратился только к утру. Я сразу услышала его шаги, они были такие тяжелые, будто он волочил одну ногу. Грудь сжалась от боли, я едва могла дышать.

Войдя в комнату, он опустился на колени, устремив на меня неподвижный взгляд. Так он смотрел долго-долго, и взгляд его как бы угасших глаз был тяжелым, усталым и мрачным.

Мне хотелось кричать, но я не могла вымолвить ни звука.

Дыхание совсем перехватило, будто что-то жесткое и тяжелое сдавило мне грудь.

Затем он произнес совсем невнятно:

— Матти мертв.

Он снова посмотрел на меня, и я заметила, как выражение горя в его глазах постепенно сменялось ненавистью, а взгляд становился жестоким и холодным.

Потом он снова заговорил, но уже другим тоном и более сиплым голосом:

— Матти лежал в лодке, а под ним огромный лосось. Более крупной рыбы я никогда не видал тут, на Инари. В спине у Матти глубокая ножевая рана.

Свекровь сидела у очага. Я слышала, как она стала причитать, и ее всхлипывания напоминали какое-то заунывное пение. Потом все вокруг окуталось мраком, и я потеряла сознание.

То, что происходило со мной в последующие дни, я помню плохо. Мальчик остался совсем без присмотра, и, если б не свекровь, он бы, наверное, умер бы с голоду. Я ничего не могла делать, ничего не говорила и ничего не слышала. Правда, откуда-то издалека, словно в тумане, долетели слова о том, что отец мой исчез в тот самый день, как умер Матти. И что его искала полиция. Никто не знает, куда он скрылся. Просто исчез и никогда больше не возвратился обратно. Не оставил после себя ни следа. Даже лодку его, и ту не нашли. Полагают, что он ушел в Норвегию и нанялся там на судно американской линии. В то время многие делали так. Другие, правда, думают, что он уехал на Шпицберген и устроился там зверобоем. Надо бы ему хоть весточку о себе подать, но он, видимо, не решался. К тому же он был на меня зол, понимая, конечно, что именно я раскрыла Матти тайну лососевого протока. Никто другой о нем ведь не знал.

Лодку Матти отнесло в глубь озера, и свекор обнаружил ее далеко от Васиккасаарет. Так что секрет лососевого протока по-прежнему оставался нераскрытым.

Похороны я помню смутно, да и были они такие странные. Обе семьи стояли порознь, каждая по разные стороны могилы. Никто не здоровался, никто не произносил ни слова. О каких-либо поминках не было и речи. Казалось, между семьей Матти и моей выросла стена. Настроение было мрачным, молчание холодным как лед.

Лично я, по-моему, стояла где-то посередине. Очень скоро я обнаружила, что изгнана из семьи Матти. Лишь свекровь сказала мне несколько слов, она же после смерти Матти стала заботиться о своем внуке. Во время похорон он находился при ней.

Еще тяжелее стало после похорон, когда расходились по домам. Пойти к себе и быть там в полном одиночестве я просто

не могла. У меня к тому же не было ни еды, ни дров. Что-либо делать я была не в состоянии. Пойти же к свекру и свекрови, чувствовать себя там еще более одинокой и чужой я тоже не могла. Свекор уже повернулся ко мне спиной и ушел, не проронив ни слова.

Я колебалась. Мне хотелось кричать.

Мать посмотрела на меня и все поняла. Подойдя, она сказала, что я могу переехать к ней в дом. Хотя бы на первое время. Она ведь теперь тоже одна. И горе ее, наверно, не меньше, чем мое.

Я поступила так, как предложила мать. Никогда не забуду, как смотрела на меня свекровь, когда я забирала мальчика. Ведь он был от ее плоти и крови и после смерти Матти как бы принадлежал нам обеим. Но и меня свекровь поняла, ведь она видела, как отвернулся свекор, не проронив ни слова.

Трудные предстояли времена. Я считала, что во всем виновата сама. Мне не следовало ходить на Васиккасаарет вместе с Матти. Но мы тогда голодали, а Матти был слишком горд, чтобы рассказать отцу про гибель наших оленей, ведь тот согласился на нашу женитьбу лишь потому, что у Матти имелось собственное стадо. Но как мне говорили позднее, мать с отцом знали о наших потерях, и отец упрекал Матти в том, что он плохо смотрит за своими животными.

Матти нужно было охотиться и рыбачить только до тех пор, пока мы не станем жить за счет своего стада. Но рыба к нему никак не шла. Он не был рыбаком и так и не научился ловить рыбу. Долго так продолжаться не могло. Коль скоро мне нечего будет есть, у мальчугана тоже не будет молока. Если б не свекровь, то нам пришлось бы совсем туго. Почти каждый день она приносила мальчику молока.

Мне бы, конечно, пойти в лососевый проток одной. Я и сегодня просто в толк не возьму, как я об этом не подумала. Тогда бы не было несчастья.

Дома у матери было чуть получше. Там я не чувствовала ненависти, никто не показывал мне спину, не выдвигал безмолвных обвинений. Но все равно мне было трудно спать и есть и хотя бы немного забыться. Горе мое лишь возрастало от внутренних упреков, которые все время меня мучили. К тому же горе мое было двойным.

Вскоре стало ясно, что теперь без отца некому ловить рыбу, и у матери стало туго с едой. У меня был младший брат, но он уехал в Вардё и нанялся на рыбацкое судно. До нас доходили слухи, что в разгар путины он зарабатывал большие деньги, но домой он не писал, и мы не знали, как его найти. Правда, он все равно не приехал бы, даже если бы мы его попросили.

У нас была корова и две козы. Когда наступила пора косовицы, я стала помогать в поле. Дела пошли чуть лучше. Иногда я отправлялась на озеро и рыбачила, но чаще возвраща-

лась домой ни с чем. Из того, что удавалось поймать, хватало только на еду, о продаже не могло быть и речи. Я часто вспоминала лососевый проток. Но надо было понять мои чувства, я просто не могла себя заставить пойти в то место. Несколько раз я была на пути туда, но каждый раз поворачивала обратно.

В конце концов, когда в доме не осталось ни кусочка хлеба, я не выдержала. Мы голодали, и я видела, как страдает мать.

Стоял дождливый день. Косить было нельзя, и я пошла на озеро. На воде были еще две лодки, и, лишь дождавшись, пока они уйдут, я решилась приблизиться к Васиккасаарет. Когда я нашла направление и стала потихоньку грести к протоку, у меня было такое чувство, что и отец и Матти сидят в лодке рядом со мной. Мне хотелось кричать. Но крика у меня не получилось, горло сдавило комом. Казалось, я вот-вот задохнусь. Правда, если бы я и закричала, меня все равно бы никто не услышал. В памяти воскресла та самая ночь, когда я ждала Матти и свекра. И я ясно представила себе, как все произошло, как Матти поймал огромного лосося и долго его водил, как из-за ближайшего островка появился отец и пришел в такую ярость, что, потеряв над собой контроль, выхватил нож и вонзил его Матти в спину.

В этот момент у меня, к счастью, клюнуло, и мысли отвлеклись. Рыба была не очень велика, очевидно килограмма на три-четыре, и вытащить ее было нетрудно. Потом я направилась домой.

Когда мать увидала меня с добычей, на глаза у нее навернулись слезы. Она не проронила ни слова, только погладила меня по руке. Это было так на нее не похоже, и я даже подумала, не известна ли ей тайна лососевого протока. Мы выпили кофе и съели последние остатки хлеба. Положив рыбу в кожаный мешок, мать поплыла к ближайшему соседу, где обменяла ее на разную провизию. Обычно мы лососей солили, коптили или закапывали в землю, а потом продавали в Неллиме. Но до Неллима было далеко, и в плохую погоду путь туда занимал несколько дней.

Я стала ловить в лососевом протоке через день, точно так же как это делал отец. Первое время было трудно, меня все время мучили тяжелые воспоминания и чувство своей вины. Но я крепко сжимала зубы, и с каждым разом становилось все легче и легче. Дела наши пошли неплохо, и вскоре за мной укрепилась слава столь же умелого рыбака, каким когда-то был отец. Но я все время боялась, что меня заметят у Васиккасаарет, и тогда моему рыбацкому счастью сразу пришел бы конец. С каждым разом я все больше понимала, какие чувства должен был испытывать отец.

Мальчик — мы назвали его Юсси — подрастал, становился большим и сильным. Подобно своему отцу, он не хотел рыба-

чить на озере, а был прирожденным оленеводом. Правда, иногда он отправлялся со мной на рыбалку, но занятие это казалось ему скучным, и он только ворчал. Сидеть на веслах он не желал, а запах рыбы был ему противен. Но стоило на берегу появиться оленю, как он тут же загорался, будучи уверен, что это его олень. Он знал, что у отца, когда тот умер, было не меньше полусотни оленей, но мы договорились, что пока животные походят в стаде свекра, тот будет за ними смотреть и за это оставит себе несколько телят, а также взрослых оленей, которые предназначались на убой. Нам тоже полагались два отбракованных оленя в год. Все считали, что для обеих сторон такая договоренность удобна, и мой дядя, который был со свекром в добрых отношениях, обещал последить за тем, чтобы она точно соблюдалась.

Иногда доходили слухи, что появились волки, и они почему-то всегда задирали именно наших оленей, либо какой-то олень просто пропадал, и, конечно, из нашего стада. Но ведь это в порядке вещей — уж если держать оленей, то и присматривать надо самим, и притом как можно лучше. Лично я ходить за стадом не могла, к тому же на мне лежали рыбалка, косьба и многое другое. А мать начала стареть и не успевала так много, как прежде.

Когда Юсси исполнилось четырнадцать лет и он бросил школу, мы решили сами присматривать за своими оленями. Дядя не раз говорил, что наше стадо стало быстро сокращаться, а когда мы пересчитали животных, то обнаружили, что осталось всего тридцать оленей. К тому же они были так плохо помечены, что без посторонней помощи мы даже не могли их отличить. Несмотря на шум и споры, Юсси был очень доволен: теперь он сам мог позаботиться о своих оленях, и он стал пасти их вместе с моим дядей, у которого тоже было небольшое стадо. Они помогали друг другу, и Юсси целые недели проводил с оленями в лесу. Я же делила время между ловом лососей и работой на хуторе. Мать занималась домашним хозяйством. Дела наши шли хорошо.

Проходили годы. Оленье стадо быстро разрасталось. Случалось, правда, появлялись волки, но Юсси отлично стрелял и быстро бегал на лыжах. Он уложил немало волков и очень многое сделал для того, чтобы отогнать их подальше от озера Инари. Все его очень любили, и вскоре от старой вражды между нами и родителями мужа остались лишь одни воспоминания.

Юсси был большим умельцем, он сам построил себе дом, отличный дом с деревянным полом и плитой. Единственный человек, кому дом не понравился,— это моя мать. Всю жизнь она жила в коте и уходить оттуда вовсе не хотела.

Закончив дом, Юсси женился. В жены он взял дочь богатого саама, и в приданое ей дали целое стадо оленей. Юсси стал теперь богатым оленевладельцем, одним из самых крупных в

районе Инари. Мы жили хорошо. Мать делала дома разные поделки, которые затем продавала. Я же занималась рыбалкой, но ловила теперь не спеша, в основном для нашего хозяйства, и продавала лишь тогда, когда попадалось много лососей. Дела наши поправились так, что лучшего и желать было нельзя.

Через год жена Юсси, ее звали Айли, родила мальчика. Мы дали ему имя Уула. Больше им бог никого не послал.

Однажды в конце осени, когда Уула было два года, Юсси, взяв собаку, отправился в лес к оленям. Он вообще больше бывал вне дома. Озеро уже сковало льдом, ослепительно белым от свежевыпавшего снега, но не всюду лед был крепок, над более глубокими местами он был еще совсем тонким. Юсси боялся, что олени спустятся на лед и если они пойдут целым стадом, то лед не выдержит, и животные могут утонуть.

В тот день было холодно, то и дело поднималась метель.

Юсси долго не возвращался домой. Уже давно стемнело, а поздно вечером прибежала собака. Она жалобно скулила и все время рвалась обратно к озеру.

Мне стало страшно, точно так же, как в ту ночь, много лет тому назад, когда я сидела в ожидании Матти и его отца. Сердце больно сжалось в груди, и я решила, что с Юсси что-то случилось. Быть может, стадо провалилось в воду? Но тогда бы и собака не вернулась домой. Внезапно я вспомнила про лососевый проток. Он поздно замерзал: место там глубокое, к тому же сильное течение. Но Юсси о нем ничего не знал, он никогда про этот проток не слышал. Правда, в детстве он несколько раз бывал там со мной, но я поступала, как и отец, и ни словом об этом месте не обмолвилась. Юсси так мало интересовался рыбалкой, что наверняка не замечал, где мы находились, но теперь, в темноте, попал, возможно, прямо на проток. Его олени находились на Карехнярга, большом полуострове как раз напротив Васиккасаарет. А вдруг Юсси провалился под лед и борется там сейчас за свою жизнь?

Мысль эта как молния пронзила мое сознание. Помню только, как я крикнула Айли, чтобы та бежала к соседу за помощью, а сама кратчайшим путем бросилась к свекру. Рассказала ему, что собака возвратилась домой одна. Свекор знал, что течение у Васиккасаарет сильное, а лед сковал там озеро лишь накануне — он и сам ходил туда, искал своих оленей, но убедился, что в тот день ни одно животное на лед не выходило.

Свекор и два брата Матти, которые в тот день случайно оказались дома, прихватив с собой лассо и карманные фонари, тотчас отправились в путь. Впереди бежала собака, показывая им дорогу.

Я тоже хотела пойти с ними, но, когда услышала, какой там сейчас лед, все поняла. Ноги отказались повиноваться, я была не в силах идти.

Свекровь уже сильно постарела. Сердце ее сдало, и она ред-

ко поднималась с постели. Я видела, что она все понимает, по щекам ее катились слезы. Ведь Юсси принадлежал нам обеим. Он был нашим общим мальчиком, хотя мы об этом никогда не говорили. Несмотря на всю семейную вражду и новые конфликты из-за оленей, свекровь всегда была на нашей стороне, хотя и не решалась сказать об этом прямо. Но мы с Юсси все время чувствовали ее поддержку. А позднее, когда дела у Юсси пошли так хорошо, когда он стал владельцем большого стада и известным охотником на волков, она им очень гордилась.

Свекровь понимала сейчас, что случилось что-то страшное. Мне было жаль ее, лучше бы уж ей умереть, не зная новых мук. Врач сказал, что ей остались считанные дни, может быть недели.

Я присела рядом с ней. Мы не проронили ни слова. Все ждали и ждали.

Вспомнив про Айли, я отправилась домой. Мне было так тяжко, что я едва передвигала ноги.

Домой я возвратилась почти одновременно с Айли. Она не застала у соседей никого из мужчин, но теперь это уже было не так важно. Юсси получит помощь, лишь бы она не опоздала.

Айли совсем не волновалась. Во всяком случае выглядела она почти спокойной, и суматоха ее скорее удивляла. Она считала, видно, что Юсси просто сломал ногу или задержался, спасая оленя, который ушел под воду. Быть может, надо рассказать ей про лососевый проток, подготовить к самому худшему, но я была не в силах это сделать. Мне снова хотелось кричать, но и на это не было сил, будто кто-то железной хваткой сдавил мне горло.

Но мать-то все понимала. Весь вечер она сидела безмолвная и неподвижная, и мы даже не решались взглянуть друг другу в глаза. Когда она брала чашку, чтобы сделать глоток кофе, рука ее так дрожала, что кофе плескался наружу.

Айли видела, как мы напуганы. Постепенно и до нее, наверное, дошло, насколько серьезной была ситуация, она вдруг закричала:

— Лед! Лед!

И разразилась плачем. Вот она какая, Айли. Хорошо, когда умеешь плакать. Тому, кто может плакать, всегда бывает легче. Он может излить свою печаль. Это очень тяжело, зато все проходит быстрее.

Под конец я не могла уже сидеть без дела. И я пошла к свекрови.

Свекор только что возвратился. Весь мокрый от пота, он посмотрел на меня точно так же, как в то далекое утро. Смотрел долго и пристально.

Все вокруг заходило ходуном, в глазах стало двоиться. Наконец он произнес слова, которые, я знала, он скажет и которые я так боялась услышать:

— Юсси умер. Мы нашли его там в полынье.

Как я добралась до дома, как я очутилась в нем — не помню. И вдруг очнулась, словно от спячки, услышав, как вскрикнула Айли:

— Он... он... утонул?

Не знаю, что я ответила ей. Помню только, как Айли затряслась и стала кричать еще громче. Она рыдала всю ночь. Я лежала рядом, обнимая ее и стараясь утешить, но какую могла я дать ей утеху? Казалось, весь мир для меня рухнул второй раз в жизни. Будто разом сломали все то, что мы так долго возводили после смерти Матти и исчезновения отца. Как страшно, что и для Юсси лососевый проток стал роковым, ведь он даже и не знал, что такой проток существует. Горе Айли было безгранично; я обнимала ее, лежа рядом, и неотвязная мысль точила мое сознание: я показала Матти лососевый проток, когда мы умирали с голоду, и проток стал местом его гибели, проклятием нашей семьи. Но ведь с Юсси я и словом не обмолвилась про это место, и как раз потому оно его и погубило. Да, не дано нам управлять жизнью — ни своей, ни посторонней, пусть даже самых близких нам людей. У жизни свои дороги, и они нам совсем не подвластны.

На следующий день мы узнали, как все произошло.

Было уже темно, когда Юсси вышел к лососевому протоку. Мел небольшой снежок, Юсси сам не заметил, как вдруг очутился в воде. Весь лед вокруг был обломан — он пытался выбраться, работая ножом. Но было холодно, пальцы быстро коченели, отказываясь повиноваться, и нож, видно, выскользнул из рук; он лежал чуть впереди, и лед был там немного толще, мог бы выдержать вес его тела. Спасение было совсем рядом — всего лишь в каком-то полуметре, но ведь известно, что в перволедье выбраться без ножа невозможно — ноги уходят вниз, а пальцы скользят по гладкой поверхности льда, не находя опоры. Отплыть и, разогнавшись, выскочить на скорости на крепкий лед он тоже был не в состоянии: на ногах были лыжи, новые лыжи с креплениями, быстро их не снимешь. Когда братья нашли его, Юсси лежал, так и вмерзнув в лед, лишь голова была снаружи, опираясь подбородком о кромку льда. Он не утонул, просто замерз, а спасительный нож лежал почти рядом.

Нож... Какую роль играл он в моей жизни! Не будь у меня под рукой ножа, когда на свет появился Юсси, ему бы не остаться в живых. А что, если б нож давным-давно потерял не Юсси, а отец — в тот раз! Я всегда об этом думаю, стоит мне только увидеть, как кто-то поднимает в кулаке зажатый нож. Картина эта для меня невыносима, и меня тотчас охватывает дрожь.

Сама я никогда не забиваю лосося ножом, а делаю это большим крючком на палке. К тому же крючок не повредит и рыбу.

Магган замолкает, набивая свою маленькую трубку. Рука от волнения дрожит, ей никак не удается зажечь огонь.

— Как же вы жили потом, после смерти Юсси?

Магган отвечает не сразу. Взгляд ее где-то далеко-далеко. Время от времени она глубоко затягивается, выпуская тонкие струйки голубоватого дыма.

— Что ж,— отвечает она наконец.— Жить-то надо было. Айли так горевала, что чуть не сошла с ума. Она и впрямь немного рехнулась. Могла вдруг так расхохотаться, что начинала громко икать, и слышать ее в эти минуты было просто жутко. Но потом это прошло. Ну а нам с матерью было чуть полегче, ведь это не первый удар, уготованный нам судьбой.

Свекровь умерла на другой день после гибели Юсси. Перед самой смертью она послала за мной. Не произнесла ни слова, только долго и ласково смотрела на меня, точно так же, как тогда, много лет назад, потом взяла мою руку и не выпускала до тех пор, пока ладонь ее не ослабла. Так она скончалась.

В могилу они отправились вместе, Юсси и свекровь. Я в первый раз испытала к ней что-то вроде ревности.

Отец Айли взял на себя заботу об оленях. Их было так много, что ему пришлось перегнать стадо на север, где было легче с кормом. Там Айли повстречала другого человека и снова вышла замуж. Уула было тогда семь лет. Отчима он не любил, к тому же быть оленеводом ему вовсе не хотелось. Как и его дед, он был прирожденный рыбак и желал заниматься рыбой, хотя и имел так много оленей. Он был упрям, и уломать его было невозможно.

После бесконечных переездов туда и обратно было решено, что мальчик пока побудет у меня. Мать моя умерла, и я осталась в полном одиночестве.

Сейчас ему двенадцать лет, и он по-прежнему живет со мной. Нам хорошо вдвоем. Зимой он в школе-интернате, но каждую субботу и в каникулы приезжает домой. Нам помогают Айли с мужем, теперь у него много оленей. Иногда они приезжают навестить нас. Они купили себе машину и живут в хорошем доме.

Летом мы с Уула ловим рыбу. Но только не у лососевого протока. Правда, один раз, не так давно, когда мы не поймали ни одной рыбы, а лосося вообще не видели все лето, Уула страшно расстроился, решив, наверно, что в озере вообще не осталось больше рыбы. Мне стало его особенно жаль, и в конце концов я решилась пойти к лососевому протоку. Там мы сразу же поймали небольшого лосося.

Восторгу мальчика не было предела. Ему так хочется опять пойти на это место, и он целый день ко мне с этим пристает. Но я неумолима. К тому же Уула забивает лосося ножом, точно так же, как это делал мой отец, хотя никто мальчика этому не учил. Когда я это вижу, мне становится совсем не по себе.

Магган наклоняется вперед, озирается по сторонам, желая убедиться, что нас никто не слышит. Потом говорит дрожащим голосом:

— Я так боюсь, понимаешь. С меня уже довольно лососевого протока. Ведь мальчик ничего о нем не знает.

Но спустя неделю Уула все равно настоял на своем, и они рыбачат в лососевом протоке. Клюет большая рыба, настоящий крупный лосось. Уула долго борется, чтобы поднять его наверх. Потом, занеся нож, он выжидает, когда рыба наконец повернется, чтобы всадить ей сзади нож.

Когда он наносит удар, лосось стремительно подпрыгивает вверх. Рыба такая сильная и тяжелая, что нож выскальзывает из рук Уулы. Леса скользит вдоль острия ножа, еще торчащего из тела рыбы, и обрывается. Лосось исчезает в глубине вместе с блесной и ножом.

Магган бледнеет, ее охватывает холод. Сердце сжимает боль, она теряет весла и, вся сникнув, сгибается над банкой.

Уула укладывает ее на дно лодки. Она лежит худая и бледная и смотрит на внука широко раскрытыми глазами. Взгляд ее серьезен, но вместе с тем он выражает изумление. И никакой боязни или страха за себя.

Уула гребет домой что только есть мочи. Когда лодка шуршит по гальке у причала, он хочет кинуться за помощью, но Магган говорит, что ей уже полегче и звать людей не нужно.

Внезапно приподнявшись на локтях, она смотрит Уула в глаза и тихо произносит:

— Уула, никогда не ходи больше к Васиккасаарет. Там золотая жила, но только проклята она!

Магган снова оседает на дно, и взгляд ее угасает.

Уула стоит у лодки и вглядывается в острова на горизонте. В солнечной дымке едва различимы их неясные очертания. Он думает о том, что если там, вдали, и в самом деле лежит золотой, вернее, лососевый прииск, то надо стать настоящим мужчиной и навсегда изгнать злой рок, который над ним тяготеет.







Звезда Лапландии

Эйно высасывает из горлышка последние капли кофе и, спустившись к реке, споласкивает почерневший от копоти кофейник. Затем, наполнив его водой, заливает тлеющие угольки костра. Вода булькает и шипит, клубы дыма быстро поднимаются кверху и исчезают. Эйно вытряхивает из кофейника последние капли воды, заворачивает его в грязный от сажи полиэтиленовый мешочек, прячет в рюкзак и неторопливо произносит:

— Нет, этого медведя нам никогда не догнать.

Затем, повернувшись ко мне, продолжает:

— Ну, швед, на этот раз тебе вряд ли удастся что-нибудь снять. Медведь напуган и ушел далеко за речку.

Да я и сам понимаю. Но на всякий случай все же оставляю камеру с тяжелым телеобъективом висеть на груди, хотя ремень страшно давит шею и больно врезается между лопаток.

Альфред сидит на поваленной ветром сухой сосне и смотрит в бинокль, внимательно оглядывая местность вдоль реки. Где-то далеко вверху река огибает крутой обрыв, и мне кажется, будто Альфред думает, что медведь, спустившись у самого берега в воду, прошел по мелководью вдоль обрыва, обогнул его и снова вылез на берег на нашей стороне реки. И все же мало

вероятно, чтобы зверь мог броситься в такую бурную стремнину, к тому же берег на той стороне настолько крут, что медведь не смог бы вылезти на сушу. Но как бы там ни было, он настолько от нас оторвался, что все мои надежды снять лапландского медведя, взлохмаченного от быстрой погони, снова тают в голубой дали.

Тут я слышу голос Альфреда:

— Что-то копошится там, в кустах, наверху, у поворота реки. Только вот не вижу, что это такое.

Эйно и я быстро подносим к глазам бинокли. Да, нам тоже видно, что в кустарнике, метрах в двух от воды, и вправду шевелится что-то темное.

Все трое сильно возбуждены, и у меня громко стучит сердце. Что же это — олень? Или, быть может, медведь? В голове я уже прикидываю, как туда побыстрее добраться. Марш-бросок вверх по течению, и там, наверху, я где-нибудь засяду со своим фотоаппаратом. А Эйно и Альфред с собакой-следопытом тем временем не спеша пойдут вверх и спугнут медведя так, чтобы тот бросился в направлении, где я сижу в засаде. Вот это будет кадр!

Но вскоре раздвигаются кусты, и к реке крадучись пробирается человек со спиннингом в руке. Боязливо озирается вокруг, будто он чем-то напуган. Потом делает первый заброс. Хотя лето в разгаре и на улице тепло, на нем надеты кожаная шапка, такая же куртка и высокие, до колен резиновые сапоги.

Я спрашиваю, кто это.

— Это Микко,— отвечает Эйно. И, немного подумав, спрашивает:

— Ты когда-нибудь слышал про Звезду Лапландии?

Конечно, слышал. Несколько лет назад, находясь среди золотоискателей в Култале, на золотой земле в истоках Лемменйоки, я многое узнал об этом редком камне. Звезда Лапландии — самый желанный для старателя минерал — корунд, который после обработки превращается в красивые рубины и сапфиры. Это редкий корунд, и ценится он очень высоко. Два небольших района у истоков Лемменйоки являются единственным местом в Европе, где встречаются естественные залежи таких камней.

Звезда Лапландии — призмообразный минерал, имеющий форму правильного шестиугольника. Он назван так по звездовидному образцу, в котором лучи расходятся от центра к периферии. Выше всего ценятся темные крупные камни, но найти Звезду Лапландии бывает так же нелегко, как и прочие виды корундов. Ее нельзя намыть, как золото, и лишь самый тренированный глаз может обнаружить такой камень в слое рыхлого песка или же гальки либо в выветренных горных породах. На Лемменйоки он свободно встречается в песке и гравии и чаще всего бывает здесь бесцветным, непрозрачным. Настоящий про-

зрачный и цветной корунд встречается лишь в странах Востока.

— Этого Микко,— продолжает Эйно,— часто называют Звездой Лапландии. Или просто Звездой. Так его прозвали много лет назад. История его довольно примечательна.

Как и многие другие старатели, Микко бродил по Култале, намывая золото, но сосредоточиться на этом деле он по-настоящему не мог, то тут, то там копал ямы, причем без всякой пользы. И если выяснялось, что до горной породы еще далеко, он бросал яму на половине и потому ничего не находил. Старатели сочувствовали ему и даже немного помогали, не то Микко наверняка уже умер бы с голоду. Но работать, как другие, он так и не научился и лишь бесцельно бродил вокруг: рыбачил или охотился, иногда промывал немного песку.

Но ведь бывает и так, что даже слепая курица находит зернышко. Так произошло и с Микко. В один прекрасный день он наткнулся на большой корунд, лежавший на отмели прямо на гальке. Настоящая великолепная Звезда Лапландии, величиной с кулак — крупнее тут не находили. Если, конечно, верить его рассказу.

Но вынести то бремя счастья, которое так неожиданно легло на плечи голодранца Микко, ему оказалось не под силу. Может, у него случился небольшой удар или слегка отшибло память? А может, он настолько ошалел от своего внезапного богатства, что просто не помнит, что творил. Как позднее рассказывал Микко, он очень боялся, что кто-нибудь украдет его находку, и поэтому бросился на гору Екелепяя и спрятал корунд под каким-то камнем.

Какая странная идея! Ведь воровство, нечестность так редко встречаются среди золотоискателей. И если посторонний старатель, какой-нибудь охотник за счастьем пустился на хитрости, его хорошенько отдубасят и так прогонят с Лемменйоки, что он никогда не вернется обратно.

И вот с того дня Микко уже двадцать долгих лет ищет тайник и никак не может найти свою чудесную Звезду Лапландии. Вот так запрятал Микко собственное богатство!

Эйно замолкает, и мы снова смотрим вверх вдоль реки. Микко медленно спускается вниз. Время от времени закидывает спиннинг, но рыба у него не клюет. Скоро он будет рядом с нами.

— Может, сварим еще кофе? — спрашивает Альфред.— И угостим Микко?

Все согласны. Эйно достает кофейник, и скоро красные языки пламени снова лижут его прокопченное днище.

В тот момент, когда кофе сварен, из кустарника появляется Микко. Увидев нас, он пятится назад, и глаза его выражают испуг.

— Ты что, испугался, Микко? — смеется Эйно.

— Гм,— бормочет Микко, немного успокоившись.— Я думал, это опять медведь.

— Что ты говоришь? Ты видел медведя?

— Да, мне повстречался наверху медведь. Едва не сбил меня с ног.

— Что он, так быстро бежал?

— У-у-у, несся как пуля! Это вы, видать, его так напугали.

Мы смотрим друг на друга. Уголки рта у Эйно выражают недовольство, Альфред почесывает подбородок. Мы понимаем теперь, что дальнейшая погоня бесполезна. Медведь летит во весь опор, он наверняка нас почуял. Или, быть может, услышал. Теперь он промчится без остановки много километров подряд.

— Присаживайся, Микко,— говорит Альфред,— мы как раз сварили кофе.

Микко отставляет в сторону спиннинг и опускается на траву. Время от времени он кидает на меня любопытный взгляд. Заметив это, Эйно объясняет:

— Этот чудак — швед, он приехал сюда сфотографировать медведя.

Микко смотрит на меня испытующе.

— Гм,— говорит он,— если тебе надо снимать медведя, можешь пойти со мной. Я почти каждый день встречаю медведей.

Эйно и Альфред хохочут. Эйно предлагает Микко свою чашку и наливает ему кофе. Потом спрашивает, не нашел ли он Звезду Лапландии. Микко что-то бормочет.

— Она лежит там, где ей положено. Ворам и бандитам ее не найти.

Эйно и Альфред снова разражаются хохотом, смеются както злорадно, бессердечно. Альфреду так весело, что он бросается навзничь на траву. Даже собака и та раза два громко тявкает.

Микко сердито озирается вокруг, верхняя губа его натягивается в угрюмую гримасу. От этого вид у него становится еще смешнее, и Эйно с Альфредом так громко хохочут, что из глаз у них катятся слезы. Микко мрачнеет.

Мне трудно участвовать в этом неугомонном веселье, оно мне просто непонятно. Ведь история с пропавшим корундом — трагедия, день и ночь мучившая Микко, его мечта, которой так и не суждено было сбыться.

Микко сидит, держа в руках большущую чашку с кофе, еще слишком горячим, чтобы можно было пить; рука у него дрожит, и кофе расплескивается через край. У Микко сердитый и несчастный вид человека апатичного и разочарованного в жизни — впалые щеки, широкий плоский нос, слегка выступающие скулы и острый подбородок с редкой бородкой. Сейчас он рассержен, и в глазах у него сверкают угрожающие искры, а

несколько минут назад, прежде чем Альфред и Эйно стали над ним насмехаться, глаза его были мягкими и добрыми, почти что равнодушными, хотя он только что и повстречал медведя.

Я просто не могу его не пожалеть. И чтобы сгладить злорадный и бессмысленный хохот моих спутников, я осторожно говорю:

— Да, обидно вышло с этим редким камнем. Но ты его в конце концов найдешь.

Микко бросает на меня благодарный взгляд и начинает отхлебывать кофе. Когда те двое наконец угомонились, он обращается ко мне с вопросом:

— Ты о нем слышал?

Я утвердительно киваю головой.

Эйно наливает мне кофе, обжигая пальцы и чертыхаясь. Микко что-то весело напевает и дует на свой кофе. Сделав несколько больших глотков, он смотрит мне прямо в глаза и говорит очень серьезно:

— Мой корунд — самая большая и прекрасная Звезда Лапландии, какая только существует. Ты верно говоришь, я обязательно ее найду. Я это точно знаю.

Эйно фыркает. Альфред разражается приступом кашля.

Выпив кофе и поговорив о том, как трудно рыбачить в этой реке, Микко поднимается, чтобы идти дальше. Его пустой рюкзак уныло висит на спине. Уходя он поворачивается ко мне и говорит:

— Приходи как-нибудь ко мне. Я могу показать тебе медведя.

Когда я спрашиваю, где он живет, Микко теряется и ничего не отвечает. Глаза его бегают в разные стороны. Наконец он бормочет:

— Где я живу? Да здесь, вдоль реки, видишь, вон там в лесу. У меня нет постоянного места, я сплю и ем там, где мне больше понравится.

И он исчезает в кустах.

В последующие дни мои мысли часто возвращаются к Микко. Его судьба меня волнует, хочется встретиться с ним наедине, послушать его собственный рассказ о запрятанной Звезде Лапландии. К тому же ему явно везет на медведей, и он лучше других поможет мне сделать хорошие кадры.

Примерно неделю спустя после первой встречи с Микко, наполнив рюкзак провизией, я снова отправился в глухие места в сторону верховья Васкийоки. Эту местность я знал довольно плохо и слышал, что охотничьих домиков тут немного и найти их бывает трудно. Возможно, они уже сгнили и превратились в труху.

— Если будешь держаться тропинок, которые хорошо видны, то всегда выйдешь к домику или другому месту, где сможешь переночевать,— учили меня знатоки.

Но такой совет неудачен, я это знал по прежнему опыту. Ведь лучшие тропы в лесу чаще протоптаны оленем и могут вдруг теряться в траве, пока совсем не исчезнут. Полагаться на карту в этой глухомани тоже не всегда можно: охотничьи домики и тропы на ней вообще не обозначены, нанесены лишь крупные лесные дороги.

Два дня я бродил близ реки. Местность там закрытая: заросли, топи, болота, низкорослый кустарник. Холмов нет, и это затрудняет ориентировку. Приходилось все-таки рассчитывать на карту.

Мне показалось, что местность была глухой: ни домика, ни хижины, ни даже самого скромного шалаша. Тропинок тоже мало, а те, что удавалось обнаружить, вскоре скрывались в вереске и через несколько километров исчезали. Но медвежьего помета и медвежьих следов хоть отбавляй, а на озерах и небольших водоемах я видел много гусей и лебедей-кликунов. Фотоаппарат в полной готовности висел у меня на груди.

К счастью, стояла теплая и ясная погода. Чувствуя усталость, я находил сухой клочок земли, опускался на хрустящий олений мох и спал часок-другой. Проголодавшись, ловил форелей и, разведя небольшой костер, зажаривал их на вертеле. Наслаждался природой и жизнью, проблемы завтрашнего дня меня не волновали.

Старался держаться поближе к реке. Кое-где берег был песчаным, и я находил на песке чьи-то крупные следы. Но определить, кому они принадлежали — медведю, оленю или человеку, оказалось не так-то просто: ветер с дождем превращали их в мелкие бесформенные ямки.

То тут, то там я находил остатки от костра. На песке рядом с золой всегда были начертаны какие-то странные фигуры, причем везде одинаковые и по форме и по размеру. Фигуры напоминали магические заклинания: на них имелся круг в виде подковы, от него отходили небольшие короткие линии. Одна линия была длинной и жирной, и на ее конце изображен маленький крестик. С левой стороны круга много мелких точек, одна из них обведена кружочком. На некоторых фигурах этот кружок размещался чуть-чуть подальше, в остальном же рисунки были совершенно одинаковы.

Эти фигуры заставили меня призадуматься. Ведь что-то они означают, раз нарисованы у каждого костра. Может, их создал какой-нибудь саам, не забывший еще поверий своих предков? И он, возможно, рисовал фигуры, желая благословить свой кофе или сушеное мясо? А может, фигурки призваны остановить оленей, не дать им перейти на тот берег реки, которая могла служить границей пастбищ?

Я долго думал над этой загадкой, но так и не разгадал ее.

На третий день вечером обнаружил на песчаной отмели у реки совсем свежие следы человека. Меня это очень обрадовало, и я решил, что рядом должен находиться Микко.

Чуть позднее в тот же вечер, когда гулко пищали комары, а река, насколько хватал глаз, кипела от гулявшей рыбы, я заметил, как метрах в ста ниже по течению над поверхностью воды совершала отчаянные прыжки большая рыба. Она взлетала на полметра, а водяные брызги достигали высоты больше метра.

Форель по доброй воле так не прыгает. Она, видно, попалась на крючок.

Торопливо направляюсь вниз вдоль берега, огибаю нависший над водой куст и успеваю как раз вовремя: Микко вынимает из реки форель килограмма на полтора. Увидев меня, он вздрагивает, лицо его выражает испуг. Но затем широкий рот расплывается в улыбке, и он смеется каким-то детским смехом. Нанеся рыбе удар по голове, он говорит:

— Хорошо, что ты пришел. Я ждал тебя.

Он тотчас начинает разделывать рыбу, разрезает ее вдоль позвоночника и, выкроив два отличных филе, достает мешочек с солью. Посыпав солью сочные куски, Микко бормочет себе под нос:

— Я видел вчера медведя. Я знаю, где он сейчас.

Потом, насобирав немного сушняка, разводит костер на берегу реки, в том месте, где песок при слабом свете незаходящего полярного солнца кажется желтым, как охра, или почти красным. Пока пламя костра бурно взмывает кверху и понемногу сникает, Микко нанизывает рыбу на ветки и концы их втыкает в песок по обе стороны костра. Затем подбрасывает в огонь свежего можжевельника. Он шипит и потрескивает, густой дым устремляется к небу.

Микко удобнее устраивается рядом с огнем. Затем внезапно заводит разговор:

— Неделю назад вон там в расселину упал олень. Теперь медведь оттащил тушу чуть в сторону и начал пожирать мясо. Если его подкараулить, будет хорошее фото.

Микко поворачивает филе и подбрасывает еще веток в костер. Дым валит вверх. Комары отступают. Чудесный запах полукопченой форели щекочет нос, и мы оба глотаем слюну. Время от времени Микко проверяет, не готова ли рыба.

Когда я достаю масло и хлеб, Микко делает большие глаза. Масла у него, конечно, нет, да и хлеб тоже кончился. В последний раз Микко видели в сельской лавке недели две-три назад.

Мы приступаем к еде, не произнося ни слова. Комары пищат, в воде плещется рыба. Посредине реки то и дело появляется большая рыбина, и нам отчетливо видна ее широкая, черная спина. Видать, гуляет настоящий верзила.

Микко смотрит на рыбу, но ничего не произносит.

Когда мы подкрепились, а Микко умял весь мой хлеб, да еще и большую часть масла, кофе уже поспел. Он оказался крепким: заварки я не пожалел.

Одна из веток, на которых жарилась рыба, лежит у самого костра. Микко вдруг хватает ее и что-то рисует на песке. Возникает фигура, точно такая, какие я находил в разных местах у реки.

На языке у меня так и вертится вопрос. Но я сдерживаю себя, подхожу к Микко и заглядываю через плечо.

— Вот тут я его нашел,— говорит он будто сам себе, указывая на крестик на песке.— Мне показалось, что кто-то идет за мной по пятам, я испугался и понесся быстро наверх, сквозь густой березняк, в направлении Екелепяя. Возможно, добежал до самой высокой вершины, точно не знаю. Место ведь там плоское. Скорее, я отклонился слишком вправо: там виднелся подходящий камень, с нижней стороны в земле была впадина. Я ее углубил, стараясь копать поровнее.

Некоторое время Микко сидит, показывая мне свой чертеж, и что-то бормочет под нос. Когда он умолкает, я осторожно спрашиваю:

— Ты уверен, что хорошо проверил все места?

Он медленно поворачивается, посылая мне мучительно долгий и бесконечно грустный взгляд. Затем проводит веткой по песку в направлении горы Екелепяя и произносит с такой горечью, что мне кажется, будто я слышу крик его души:

— Я искал так, что чуть совсем не обалдел. Все мои мысли и вся жизнь навеки связаны с проклятой горой.

Он бьет себя кулаком по лбу.

— Звезда Лапландии, которую я там нашел, сделала жизнь мою адом. Все надо мной насмехаются, злорадствуют. Каждый встречный заводит разговоры о Звезде. Я ненавижу ее, слышишь, ненавижу!

Микко швыряет ветку в реку, и она шлепается в воду там, где гуляет большая рыба. Широкие круги бегут к другому берегу.

— Никто мне больше не верит. Ведь это было так давно...

Микко задевает самое больное место. Я и сам не раз подумывал о том, что, может, вся история с корундом — результат самовнушения Микко. И мне кажется, другие тоже так считают.

Но как бы там ни было, эта история должна иметь свою первопричину. То, что Микко нашел большую Звезду Лапландии, наверно, все же правда, хотя никто не знает, насколько камень был велик. Но почему Микко сломя голову помчался в горы и спрятал там корунд? И почему он потом так запутался, что не смог отыскать свой тайник? Как могло случиться, что он не

обнаружил такой отчетливый ориентир, как выступающий над местностью камень, под которым он закопал корунд?

Я наливаю ему третью чашку кофе и перевожу разговор на тему об олене, который провалился сквозь наст. Микко тотчас становится спокойнее, и мы обсуждаем, как застать медведя врасплох и сделать хорошие фотографии. Оба считаем, что медведь вернется к оленьей туше рано утром на следующий день, как только взойдет солнце.

Идем к каменистому склону, где медведь пытался закопать оленье мясо. Земля вокруг разрыта, и резкий запах протухшего мяса ударяет в нос.

Примерно метрах в десяти от того места, где зверь разрыхлил землю, строим примитивное укрытие. Я взвожу затвор фотоаппарата, достаю длинный спусковой тросик и усаживаюсь поудобнее.

Некоторое время оба сидим молча. Спрашиваю Микко, случалось ли, чтобы на него нападал медведь или хотя бы угрожал напасть.

— Нет, никогда,— шепчет Микко в ответ.— Медведь первым не кидается на людей, если он только не ранен и не может поэтому удрать. Да и в этих случаях он едва ли нападет на человека.

Мы лежим, перешептываясь. Микко рассказывает о своих встречах с медведем. Многие из них и вправду интересны, но если б я начал о них тут рассказывать, то это увело бы нас далеко от темы.

Время идет медленно, один час сменяет другой, но медведь не появляется. Он, наверное, услышал или почуял нас. Если это так, то теперь он далеко отсюда, хотя обычно медведь держится поближе к тому месту, где есть чем поживиться, пока хоть что-нибудь останется от туши.

Солнце встает над березовым леском, в нашем укрытии становится тепло и душновато. Теперь мы замечаем, что устали, и начинаем зевать. Веки тяжелеют, опускаются.

Неожиданно я слышу дикий крик и спросонья нажимаю спусковой крючок. Микко во сне бешено машет руками, брыкается, кричит, едва не заваливая все наше укрытие. Он возбужден и ошарашен, хотя уже проснулся. Таращит на меня глаза и, не говоря ни слова, делает ужасные гримасы. Наконец, соображает где находится, стыдливо проводит рукой по лицу и говорит извиняющимся тоном:

— Мне приснилось, что я его нашел. Мне это снится часто, почти каждую неделю. Проснуться от такого сна бывает чертовски трудно.

Если медведь и бродил поблизости, то теперь уж его наверняка спугнули. Продолжаем лежать в укрытии, наслаждаясь уютным теплом; мысли витают тут и там, пока опять не засыпаем.

Выспавшись, отправляемся бродить по низинам, но нигде медвежьих следов не видно. Повсюду тишина. Солнце ярко сияет, жужжат и гудят слепни и мухи, гуляет рыба.

Подходим к оленьей туше, но, судя по всему, медведь к столу не притрагивался. Видно, мы его спугнули.

После целого дня безуспешных поисков я отправляюсь в путь обратно к Инари. Прежде чем распрощаться с Микко, мы условливаемся о времени и месте нашей следующей встречи — на вершине горы Екелепяя.

На юго-западной оконечности низкого горного массива Марастуоддарак есть гора Екелепяя, напоминающая по форме подкову. На ее вершине, точнее, на плато раскинулось небольшое болото, из которого в юго-западном направлении вытекает крохотный ручеек. Уже давно нет дождей, и ручеек пересох. Он служит истоком Миесийоки — реки, которая чуть ниже по течению впадает в Патсойоки, а уже та через Васкийоки впадает в озеро Инари.

Плато Екелепяя довольно ровное, и на самой плоской его части обычно садится самолет, который нанимают в Инари старатели, когда покутят там несколько дней и им надоест пить стаканами «карпанпаймен» — отвратительную смесь молока и шотландского виски, соединенных равными долями.

Когда вы поднимаетесь на Екелепяя, то после зарослей березняка на нижнем склоне горы взору открывается на редкость красивый вид. Подойдя к самому краю плато, я оборачиваюсь и вижу под собой волнистые березовые перелески. Где-то внизу течет Миесийоки, вся изрытая неутомимыми руками золотоискателей. Кое-где вдоль реки смутно вырисовываются песчаные гребни. Там, среди глубоких ям и высоких куч гравия вдоль Миесийоки, Микко нашел свой большой корунд. А может, это было километрах в двух южнее, в верхнем течении небольшого ручейка Пускуяврипасхавдси. Во всей Европе лишь в этих двух местах можно встретить корунды такого типа и размера, как Звезда Лапландии.

Далеко к западу, за березовыми перелесками по ту сторону бескрайних просторов плато Финмарксвидда, смутно очерчиваются остроконечные снежные горы у побережья Норвегии. Но до них еще так далеко.

Я продолжаю свой путь и, выйдя на плато, замечаю вдали на фоне неба силуэт человека. Выпрямившись во весь рост, он направляется мне навстречу.

— Вот тут он где-то лежит,— произносит Микко, даже не здороваясь и таким тоном, словно мы продолжаем разговор, состоявшийся внизу, у Патсойоки, две недели назад.

— Под камнем, который торчит над землей, не очень большим, но и не очень маленьким. Где-то вот здесь!

Он смущенно смотрит на меня стеклянными глазами. Потом разводит рукой, обводя все широкое плато.

Плоскогорье, где мы стоим, можно исчислять километрами. То тут, то там виднеются вросшие в землю камни — не слишком большие, но и не очень маленькие. Меня осеняет, что камень Микко со спрятанным под ним сокровищем все равно что иголка в муравейной куче. Монотонный, однообразный ландшафт плато затрудняет поиски.

Мы присаживаемся. Я достаю из рюкзака бутылку пива. Микко с жадностью хватает ее и единым глотком выпивает большую часть содержимого.

Я спрашиваю, почему он спрятал камень в таком месте, где почти нет точных ориентиров. Микко заметно нервничает, глаза бегают вокруг, его мучает удушье.

— Понимаешь, я так торопился,— бормочет он в ответ.

— Торопился? Отчего же?

Микко допивает остаток пива. Отвернувшись немного в сторону, откашливается и еще что-то бормочет. Затем бормотание переходит в пронзительный фальцет, почти что в крик о помощи:

— Нет, ты только послушай! Никому другому я бы этого не рассказал. Но ты, я знаю, меня не выдашь.

Микко делает паузу, с жадностью допивая последние капли пива. Затем продолжает уже более спокойно.

— Как-то лет двадцать тому назад мне надоело намывать золото, и я решил сходить на Патсойоки порыбачить. Речушку Миесийоки старатели перекопали вдоль и поперек, там всюду виднелись кучи нарытого гравия. Перебираясь через одну из них, я зацепил сапогом какие-то камешки, и они покатились вниз. В тот день непрерывно шел дождь, но в этот момент вдруг выглянуло солнце. Луч яркого света упал на один из камней, и передо мной ясно засверкала большая Звезда Лапландии. Когда я поднял камень, смахнул с него песок и землю, он стал совсем ясным. А размером он был с кулак.

Корунды я видел и раньше, порой находил их сам и неплохо в них разбирался. Но столь крупную и ясную Звезду Лапландии я никогда еще не встречал и о таком камне даже не слышал. Он стоит много-много тысяч марок. Как только камень оказался у меня в руках, я понял, что нашел целое состояние.

Голова у меня закружилась, мозг словно набух и совсем отяжелел. Все вокруг заходило ходуном, и мне пришлось опуститься на землю. Так вдруг разбогатеть, внезапно найти деньги, которых хватит до самой смерти... осознать все это было не так-то легко.

В этот момент я подумал, что корунд-то, собственно, не мой. Ведь это был участок другого старателя, которого я хорошо знал, поскольку уже много лет он копал и намывал тут золото.

Значит, Звезда Лапландии должна принадлежать ему. Правда, в то время я уже давно не встречал его в тех местах.

Эта мысль поразила меня точно молния.

Что произошло потом, мне не ясно. Помню только, что я мчался сквозь березовый лесок, и ветки, как злые оводы, хлестали по лицу, а корунд, лежавший в кармане, больно стучал по ноге. Помню, что поднялся на гору, кажется в этом месте, а может и вовсе не тут, и стал искать камень, который смогу потом легко найти и под которым можно спрятать мое состояние. Помню, как нашел его, он торчал немного над землей, и закопал под ним корунд, присыпав землей, а сверху разбросал еще гравия, чтобы придать этому месту естественный вид.

Потом спустился к Патсойоки, наловил форели, поел, напился чаю и успокоился. На берегу реки прожил несколько дней совсем один, погруженный в собственные мысли, но так и не мог решить, украл я камень или нет. Ведь не пройди я в тот день случайно по тому самому месту, корунд бы и сегодня лежал на куче гравия, давно уже скрытый вереском и березовым кустарником, и никто никогда бы его не нашел.

К тому же человек, владевший тем участком, так тщательно перекопал весь берег Миесийоки, что ни он и никто другой в эти места уже не заглянет. Ямы были глубокие, доходили до самого камня, а кучи вынутого гравия достигали нескольких метров в высоту. И все же где-то в глубине души меня что-то мучило и свербило. Я попробовал себя успокоить, и на несколько часов это чувство исчезло, но вскоре оно опять возвратилось. Конечно, лучше всего бы вырвать эту колючку с корнем, пойти к тому человеку и все ему рассказать. Он бы наверняка согласился разделить со мной выручку. Но, черт побери, ты же знаешь, как трудно на это решиться!

В конце концов у меня созрел определенный план. Я решил подать прошение об участке для намывки золота где-нибудь у Миесийоки. Оформив такой участок и получив на него бумаги, я начну там копать и найду свой большой корунд, не сказав, конечно, никому, как было на самом деле. Потом одолжу в Инари немного денег, отправлюсь в Хельсинки и там продам свой драгоценный камень. На часть вырученных денег построю себе домик на берегу Патсойоки, а остальные положу на книжку в банк. Вот это будет жизнь!

Поначалу все шло как по плану. Мне дали участок, который, как сказали, был уже весь перерыт и не так давно возвращен государству. Участок обошелся очень дешево, а надежды найти там золото не было никакой. Но мне ведь на это было наплевать.

Когда я отправился на Миесийоки, чтобы взглянуть на участок, оказалось, что это было как раз то место, где я нашел свой корунд. Какой приятный сюрприз! Я, правда, не знаю, когда этот участок возвратили государству. Возможно, чуть рань-

ше того, как я сделал там свою находку. Но теперь я чувствовал себя вполне уверенно.

Я начал кое-где копать и одну из ям прокопал довольно глубоко, найдя там немного золота, всего несколько граммов. В один прекрасный день я поднялся сюда, на плато, чтобы забрать свой корунд, прекрасную Звезду Лапландии, спрятанную под одним из камней.

Остальное тебе известно. Я искал и искал. Много дней, много недель, весь остаток лета и до поздней осени. Временами я буквально падал от голода и изнеможения.

Как только пришла весна и стаял снег, я снова начал поиски. Вот уже скоро двадцать лет, как я ищу этот проклятый камень!

Все надо мной смеются, считают, что я сошел с ума. Дело дошло до того, что я порой и сам начинаю думать: может, моя Звезда Лапландии и впрямь чистейшее воображение, плод больной фантазии?

Микко умолкает, устремляя взгляд куда-то вдаль. Рядом поет золотистая ржанка, кричит зимняк. В вереске шуршит лемминг.

— Но,— продолжает он немного погодя,— у меня ведь тоже кто-то мог украсть корунд. Прямо тут, в горах. Ведь не исключено, что за мной в тот день могли наблюдать. Я много об этом думал.

Мы ходим по плато и ищем, просто так, на авось, перемещаясь из конца в конец нагорья. Заметив какой-нибудь вросший в землю камень, не слишком большой и не слишком маленький, мы тотчас же бросаемся к нему, но почти везде земля уже разрыта. А между отдельными камнями можно кое-где заметить темные полоски — это небольшие тропки, которые за многие годы Микко протоптал своими сапогами.

Постепенно мы слишком далеко удаляемся влево и подходим к небольшому болоту. Сквозь редкий березняк виднеются кучи гравия и маленький домик старателя. Но Микко не желает даже смотреть в ту сторону, и мы снова взбираемся вверх.

Та часть горы, что осталась по правую сторону, западнее болота, Микко совсем не интересует. Правда, он и тут искал, однако твердо убежден, что там корунда нет. Но откуда он может это знать? Ведь в момент своей редкой находки он был в таком трансе, что вряд ли соображал, куда идет, и вполне мог очутиться на западной половине подковообразной горы. Но говорить с ним об этом бесполезно: он убежден, что все происходило здесь, на этой стороне!

И когда мы отклонялись к востоку, взору открывалась глубокая и узкая долина между Екелепяя и низкой горой Каскоайви. Долина называется Екеле-эйтси, или Золотое ущелье. Там тоже работают старатели, и Микко в испуге поворачивает назад, снова направляясь на плато.

Примерно час спустя я нахожу ряд камней, которые привлекают внимание. Земля вокруг разрыта, похоже, ее перекапывали каждый год на протяжении долгих двадцати лет. На одном из камней, если вглядеться внимательно, можно заметить слегка выступающий гребень.

Я смотрю вверх, чтобы окликнуть Микко и показать ему этот гребень, но его нигде не видно. Наверное, Микко присел на землю, и его темная одежда сливается с местностью. Я кричу ему раза два, но так и не получаю ответа.

Достав бинокль, я осматриваю местность. Вдали на равнине я замечаю Микко. Лишь голова его ясно очерчивается на фоне неба, но постепенно появляется туловище. Он идет по небольшой ложбинке; чуть погодя видна его фигура, но теперь он превратился в маленькую точку, и без бинокля уже не разобрать, человек ли это.

Микко не оборачивается.

Через полчаса он исчезает в направлении северного склона Екелепяя, а я присаживаюсь на камень, чтобы слегка перекусить.

Все вокруг стало вдруг зловеще пустынным и голым. По-прежнему поет золотистая ржанка, где-то причитает канюк. Еда кажется невкусной, на душе становится неприятно.

Я собираю вещи и бреду назад в том направлении, откуда пришел, вниз к Миесийоки и далее к Моргаму.

Чуть ниже по склону, в том месте, где встречаются первые горные березки, я натыкаюсь на плоский камень, примерно на фут выступающий над землей. На камне высечен рисунок такой же, какие я видел на песке у Патсойоки недели две назад,— та же странная фигура, какую чертил Микко, когда мы пили кофе, а крупная форель вовсю гуляла на реке. Определив направление самой длинной черточки на рисунке, я обнаруживаю, что она указывает вниз, в сторону наиболее перекопанной части Миесийоки.

Фигурка на камне старая, и мелкий лишайник уже начал покрывать отдельные насечки. И все же хорошо видно, что кто-то расчищал рисунок в этом году, а может, это было вчера. При ярком солнечном свете последние насечки отливают белизной.

Прошло еще две недели. Болота, прежде усыпанные красноватой морошкой, уже побледнели и теперь, усеянные спелой ягодой, приобрели светловато-желтую окраску. После форели, поджаренной на углях костра, сочные ягоды таяли во рту, и витаминный сок придавал бодрости и сил.

Но в животе от такой трапезы здорово мутило, ибо сок морошки переваривается не очень-то легко, постоянно вызывая

малоприятные схватки. И все же это были чудесные дни — яркое и теплое солнце, гулкие раскаты грома, черные тучи комаров и свежие утренние зори, глубокая тишина и шепот гуляющей форели.

Я по-настоящему влюбился в болотистый ландшафт вокруг богатых рыбой Тайменских озер, что находятся на водоразделе между Оунасйоки, Китиненйоки и Ивалойоки. Примерно в километре к западу старинная, ныне заброшенная дорога вела из Китиля мимо охотничьего поселка Покка к городку Инари. Конечно, пробираться сквозь кустарник и болота здесь было нелегко, а комары и слепни кусали больше, чем где-нибудь. Зато рыба водилась в каждом ручейке, в любой самой мелкой лужице, а в настоящих озерах она была довольно крупной. Зрелые ягоды морошки росли так густо, что при каждом шаге их желтый сок так и брызгал из-под ног во все стороны.

Если я чувствовал усталость, то направлялся на склоны в сторону Йомпяпяя, Сиеккароайви, Етеля, Сарвескяйдитоайви и прочих низких гор, плотным кольцом окруживших этот болотный мир и покой. На склонах было много смолистых деревьев, и я разводил там костер, чтобы сварить себе кофе. Когда особенно докучали комары, я подбрасывал в огонь немного сыроватого ягеля; от костра валил густой дым, а я, свернувшись, калачом, засыпал на часок-другой.

Так проходили день за днем. Журавли, гоголи и морские чернети вскоре привыкли к моим ежедневным странствиям среди озер на болотах. Но гуменник и его детеныши оставались подозрительны и пугливы, подпуская меня лишь на расстояние фотографического «выстрела». Медведь тоже не желал появляться, хотя я каждый день находил на болоте его следы, а однажды был от него так близко, что даже видел, как медленно поднималась примятая трава там, где косолапый только что оставил след. Он обладал поразительной способностью нырнуть куда-нибудь в кустарник, исчезая совсем бесследно. А сам наверняка стоял где-то рядом и потихоньку за мной наблюдал.

Однажды ранним утром, когда над равниной стелилась дрожащая дымка, а благоухающий запах земли, воды и трав был еще резким и сильным, я заметил, как что-то крупное двигалось вдали среди болотных кочек, недалеко от маленького озера Каскаярви. Это вполне мог быть медведь, который вышел полакомиться морошкой, и я, конечно, сразу всполошился. Но в линзах бинокля «медведь» вскоре превратился в человека, одинокого странника, который без всякой цели слонялся на утренней заре.

Фигурка быстро приближается ко мне, но встречаться с людьми на этом диком и пустынном горном плато у меня нет ни малейшего желания, и я скрываюсь в зарослях густых березок. Отсюда можно наблюдать за человеком в бинокль, и мне

уже отчетливо видны его кожаная шапка, такая же куртка и высокие резиновые сапоги. К своему большому удивлению, я убеждаюсь, что этот одинокий странник и есть Микко, чудак с вересковых пустошей у речки Патсойоки.

Но что он тут делает? Ведь прежде Микко никогда не рыбачил в притоках Тайменйоки. И как странно он себя ведет! Как ошалелый носится по кочкам, то тут, то там срывает несколько ягод, прыгает и быстрым движением направляет их себе в рот. Левая рука его засунута глубоко в карман, и он ее не вынимает.

Микко движется в каких-нибудь ста метрах от меня, и, когда он подходит совсем близко, я выхожу из своего укрытия. Он меня тотчас замечает и, застыв, словно высохший пень, прикладывает ладонь к глазам. Помахав рукой, я направляюсь к нему навстречу, но Микко продолжает стоять в нерешительности, готовый пуститься наутек.

— Микко, разве ты меня не узнаешь?

— Узнаю.

Микко кашляет, не разжимая губ, выдвинув вперед подбородок. Взгляд его безжизненный и вместе с тем смущенный, жиденькая борода уже месяц не брита, а одежда такая рваная и грязная, какой я никогда ее не видел прежде. И до чего он исхудал! Скулы торчат точно маленькие рога, суставы на пальцах большие и опухшие.

— Послушай, Микко, что ты делаешь тут, у Тайменярви?

— Понимаешь, я собираюсь идти продавать.

Голос его тоже сильно изменился. Характерное урчание совсем исчезло, но тон такой же возбужденный, как в тот раз, когда мы говорили с ним там, на горе.

— Продавать? Что же ты будешь продавать?

— Да, буду продавать.

— Морошку? Или, может быть, рыбу?

— Я поеду продавать в столицу!

Правой рукой он прижимает левую, которая по-прежнему засунута в карман. Рука дрожит, да и все тело Микко теперь охватила дрожь.

— Ты... ты... нашел его?

— Да, да, нашел.

Глаза у Микко бегают, они горят как в лихорадке, но избегают моего прямого взгляда, хотя раньше он мог его спокойно выдержать. Их словно окутало какой-то пеленой, хотя взгляд по-прежнему кажется острым и резким.

— Ну что ж, кто знает...

— Да, да,— перебивает он меня своим пронзительным, визгливым голосом,— я знаю. Несколько сот тысяч марок, возможно целый миллион. А может, даже больше.

Я предлагаю спуститься вниз, к Сарвескяйдитоайви, развести костер, сварить кофе и немного перекусить. У меня есть

на берегу укрытие от ветра, мы сможем отдохнуть и немного поболтать. Я думаю, нам есть о чем поговорить.

Но Микко возражает, он размахивает в воздухе рукой, едва не задевая меня по лицу. Потом выкрикивает:

— У меня нет времени. Понимаешь, нет времени. Мне надо продавать, продавать, продавать. Несколько сот тысяч марок, может быть миллион. Ох... ох... Не-т-ту времени...

— Но, Микко, ты ведь можешь съесть хотя бы хлеба, ты, очевидно, голоден. В рюкзаке у меня много еды, есть копченое сало, которое ты так любишь, есть колбаса...

— Конечно, люблю, но у меня нет времени на это. Я должен, я наверняка получу...

И Микко продолжает свой путь в Хельсинки, ни на что не отвлекаясь, думая только о том, что должен сделать в столице. Он следует к миру своей мечты, ничто не может его остановить, и нет таких аргументов, которые могли бы на него повлиять. Он идет, высоко подняв голову и выпрямив сгорбленную спину, сильный в своей решимости, непоколебимый в своем убеждении.

— Микко, остановись, позволь мне помочь тебе!

Но Микко продолжает свой путь. Он ничего не слышит, видит только яркий свет далеко, далеко на юге, слышит хруст банкнот и звон серебряных монет.

— Микко! Микко!

Последнее, что долетает до слуха,— это сбивчивый поток его слов, в котором, точно грустный припев, он без конца повторяет: «Несколько тысяч марок, может быть даже миллион...»

Микко удаляется, покачиваясь из стороны в сторону, небрежной, разболтанной походкой, так непохожей на его привычный мягкий шаг жителя таежных лесов.

Что прячет он в зажатом кулаке в глубине своего брючного кармана? Может, он и вправду нашел свою Звезду Лапландии? Возможно, он потому так торопился и был возбужден, что стремился побыстрее добраться до Хельсинки?

Но почему же тогда он не показал мне свой корунд?

Встреча с Микко оставила у меня неприятный осадок, даже не знаю почему. Такое же чувство, как и в тот раз, когда он, даже не попрощавшись, вдруг покинул меня на вершине Екелепяя. Это так не похоже на Микко, что-то с ним, видно, стряслось.

Где-то вдали на болоте во всю глотку дуют в свои трубы журавли, а на поверхности Тайменярви тоскливо кричит чернозобая гагара. Крики эхом разносятся среди холмов, задевая в душе моей какие-то внутренние струны.

По мере того как поднимается солнце и становится все теплее, комаров сменяют крупные, похожие на ос слепни. Они жалят, как сущие дьяволы.

Но почему Микко не пошел по тропке к Покка? Ведь это кратчайшая, наиболее легкая дорога. Может, он направился к Вуотсо, прямо через лес? Знает ли он, что это далеко и идти тем путем очень трудно? Сумеет ли добраться до цели? И как бы с ним чего не случилось.

Сам того не сознавая, я иду в том направлении, где только что скрылся Микко. Но двигаться по его следу трудно. Там, где он только что ступил, лишайник уже поднялся, как резина.

Красивый, идиллический тайменский ландшафт словно переменился. Бесконечный мир и покой вдруг исчезают — над болотами и озерами витают тысячи вопросов, навязчивых и безответных. Меня уже не радуют, даже утомляют, и перезрелая морошка, и плеск гуляющей форели, и те таинственные тропы, что протоптал медведь.

Среди дня, в самое пекло, я упорно двигаюсь на запад, словно меня что-то гонит, подхлестывает в спину. Я иду быстро, очень быстро, хотя торопиться мне, собственно, некуда. Пот струится градом, я насквозь промокаю еще до того, как выхожу на старую тропу, широкую и прямую как шнур. Приятно наконец услышать, как стучат по твердой почве сапоги, видеть вокруг себя густые сосны, непроходимый лес, который защищает от неожиданных превратностей судьбы.

Я двигаюсь прямо на север. Быстро, чуть ли не бегом иду в направлении к Инари. Слепни, точно облако, окутывают мой обнаженный торс, и я тщетно пытаюсь отогнать их березовой веткой. Олень, заметив меня, широко раскрывает рот и кидается прочь, издавая хриплые звуки.

В животе тяжесть от съеденной морошки. От голода и жажды не осталось и следа. Я испытываю только смутную тревогу.

Микко, Микко, куда же ты теперь подался!

В один из ясных дней середины августа я сижу на вершине Моргам, одной из самых высоких гор финской Лапландии. Передо мной великолепный вид: к югу бескрайние лесистые просторы до самого Рованиеми, к востоку, близ русской границы,— округлые и голые кряжи Саариселькя. На севере, словно гигантское серебряное украшение, сверкает Инари, а к западу, по ту сторону огромных оленьих пастбищ на равнинах Финмарксвидда, встают прибрежные норвежские горы, и строгая цепочка ледово-синих вершин едва-едва приметна в тонкой солнечной дымке горизонта. Волнистые леса на равнинах. Голые, обнаженные горы. Лапландская грусть и тоска, но вместе с тем такая красота, что оставляет неизгладимый след в душе, вызывая чувство благодарности и смирения.

Я долго любуюсь пленительным видом с голой вершины

Наконец, взглянув сначала на Эйно, потом на меня, Альфред произносит:

— Ты и я, Эйно, мы оба охотники. Мы стреляем в медведя, когда беззащитный зверь вылезает из берлоги, убиваем медведицу, когда та пытается защитить своих детенышей. Ты же, швед, гоняешь по лапландским лесам, своим фотоаппаратом до смерти пугаешь медведей и волков. Почему же Микко не может иметь свою Звезду Лапландии, искать ее, мечтать о ней? Быть может, среди всех нас он самый маленький чудак. И уж во всяком случае вреда никому не причиняет.

Вокруг костра снова воцарилась тишина. Эйно посылает мне взгляд, полный удивленного испуга. Затем смотрит на часы.

— Ну, нам пора,— говорит он.

Мы поднимаемся. Эйно споласкивает кофейник, Альфред набивает рюкзак. Похоже, что он уже не думает о Микко.

Мы сердечно прощаемся друг с другом. Альфред и Эйно скрываются в лесу в направлении болота у Наукуссуо. Сам я иду к лодочной стоянке у Культы, чтобы подождать там почтальона и вместе с ним спуститься по реке на несколько десятков километров вниз в сторону озера Инари.

В конце лета я больше не встречал уже ни Альфреда, ни Эйно, ни кого-либо другого, кто мог бы рассказать мне что-либо о Микко. После того как он исчез из наших мест, никто им уже не интересовался, однако мои мысли часто к нему возвращались. В глубине души я надеялся, что там, в больнице, он обрел наконец душевный покой. Ведь он нашел свою Звезду Лапландии. Одна лишь незыблемая вера в то, что в любой момент — сегодня, завтра, через неделю — он сумеет продать этот камень за баснословную сумму, одна эта мысль должна наполнять его радостью и счастьем.

Меня волновало теперь одно: как он будет чувствовать себя в больнице, лишенный уединения, к которому он так привык, ароматов леса и пустынных равнин, не слыша крика журавлей, тявканья лисицы и легких всплесков гуляющей по вечерам форели?

Прошла зима. С наступлением тепла, когда я снова готовился отправиться в Лапландию, мне на глаза попалась газетная заметка, в которой говорилось о корунде, на редкость большой и красивой Звезде Лапландии, которую через посредника продали одному немцу, крупнейшему в мире торговцу драгоценными камнями. Цена там не называлась, но отмечалось, что более высокой цены за европейский корунд никогда еще не давали. Где этот камень был найден, в заметке ничего не говорилось, лишь строились догадки — видно, где-нибудь

на финских приисках, вероятно в районе Лемменйоки, ибо там, и только там, встречаются корунды в свободном состоянии, которые легко отшлифовать.

Я еще раз перечитал заметку, и мне стало как-то не по себе. Наверняка это тот самый камень, который потерял Микко, но исключено, конечно, чтобы он имел отношение к этой продаже. Когда на Екелепяя выпал первый снег, Микко по-прежнему находился в больнице, а когда заметка появилась весной в газете, в гористых районах финской Лапландии еще лежал глубокий снег.

А что, если тот камень, что Микко носил в кармане брюк, на самом деле был большой и ценной Звездой Лапландии? Ведь ни один специалист его не осмотрел, никто по сути дела этот камень даже и не видел.

Но нет, это тоже мало вероятно. Будь это так, то уже через неделю в кармане у Микко камень был бы так отполирован, что ясно походил бы на Звезду Лапландии. И уж наверняка какая-нибудь умная душа его бы рассмотрела.

Итак, оставалось только одно решение этой удивительной загадки, одно объяснение, то самое, что Микко и сам раза два упоминал. Звезду, очевидно, украли. Возможно, вторично. Вполне вероятно, что кто-то видел Микко, когда тот сделал свою находку, и проследил, где спрятан камень. Может, Микко вел себя странно, когда мчался опрометью в горы, и кто-нибудь из любопытства последовал за ним, стараясь выяснить, что происходит. Или же, что более вероятно, кто-нибудь заметил, как Микко день за днем бродит по нагорью, раскапывая один камень за другим. Было, конечно, ясно: Микко что-то ищет, возможно, припрятанное где-то золото, находку первых богатых лет на приисках у Миесийоки. Тому человеку повезло, он нашел тайник с большим корундом.

Но почему прошло так много времени, прежде чем корунд был продан? Возможно, вор держал так долго камень, боясь, что Микко его разоблачит и постарается придумать месть? А теперь, когда Микко упрятали в больницу, из которой он наверняка уже не выйдет, вор почувствовал себя уверенно. Болезнь подкрадывалась к Микко на протяжении многих лет, медленно и верно. Теперь в больнице она будет быстро прогрессировать, перейдет в апатию, пока наконец, утратив все душевные функции, Микко не заснет столь ранней, но безболезненной, лишенной страха смертью.

Кто же ты, вор, разрушивший жизнь человека, отнявший у него то единственное, что тот имел? Кто ты, трусливо и расчетливо сгноивший разум человека, чтобы затем, когда настанет время, создать самому себе надежное и обеспеченное будущее? Кто ж ты, дьявол в обличье человека?

Одно я знаю точно — это не старатель с Лемменйоки. Все они честные и порядочные люди, им никогда не мог прийти

в голову столь низкий и подлый обман в типично клондайкском духе.

Вопросы нагромождались один на другой, и все это толкало меня поскорее отправиться в Лапландию. Ночью я лежал с раскрытыми глазами, снова и снова переживая те дни и часы, что мы провели вместе с Микко в глуши бескрайних финских лесов. Но стоило мне хорошенько прислушаться, как до слуха долетал грубый и злорадный хохот Эйно. Кровь закипала в жилах, и старая головная боль, возвращаясь, парализовывала мой мозг.

Остановившись на ночлег в Рованиеми, я не встретил никого из старых знакомых. В автобусе, который следовал на север, мне тоже некого было расспросить о новостях. Дорога до Ивало протяженностью в триста километров была такой же, как и обычно,— старое разбитое шоссе с гравийным покрытием прорезало гигантское лесное море с плоским, тонувшим в дымке горизонтом; редкие пассажиры, входившие или выходившие на остановках, были людьми бедными, одетыми малоопрятно, но как будто довольными своим существованием.

В туристической гостинице в Ивало мне также не удалось ничего разузнать. Все работники были тут новыми. К тому же в финской Лапландии так часто встречаются люди с удивительными судьбами, что те, кто по каким-либо причинам больше не привлекают к себе внимания, просто-напросто забываются.

И лишь позднее, путешествуя по Инари и привлеченный дымом костра на одном из бесчисленных островов огромного озера, я сумел разузнать кое-что новое о дальнейшей судьбе Микко. У костра сидел рыбак, ожидая, пока рыба попадется в сеть, которую он поставил где-то на озере еще в сумерки. Этого человека я уже однажды встречал, но где и когда — не припомню. Имени его я не знаю, да и фамилию не запомнил. Но я зову его Ниило, и, поскольку он меня не поправляет, возможно, это и есть его настоящее имя.

Ниило предлагает мне кофе, и разговор заходит о рыбе, медведях и волках. Прошлой зимой он видел трех волков, они пробежали вдали по льду озера Инари; он послал им вдогонку несколько выстрелов, но расстояние было слишком велико. Следующей ночью они снова появились и стащили рыбу, которую он припрятал у берега в снегу. Сущие дьяволы!

В разговоре с ним я спросил, не слыхал ли он что-нибудь про Микко, того самого чудака со Звездой Лапландии.

— Как же, слыхал,— ответил мне Ниило и сразу оживился. Снова раздув костер, он поставил кипятить кофейник.

— У меня есть дочь, зимой она работает в столице, а летом

снова приезжает к нам в Лапландию, и так из года в год. У нее всегда есть что рассказать.

Прошлой осенью она работала в той самой больнице, где находился Микко. Она часто встречала его, но поговорить с ним так и не удавалось. Микко не узнал ее, он начисто забыл все имена и лица. Казалось, он витает где-то в другом мире и совсем ушел от жизни. Он был одним из самых слабоумных в той больнице.

Ты, видно, слыхал про камень, который он носил в кармане брюк? Конечно, все, наверное, знают эту историю. Кроме этого камня, он ни о чем не думал. И если кто-нибудь пытался тронуть камень или просто делал вид, что собирается его отнять, то Микко становился опасным. Он бил всех без разбора. А когда Микко разъярится, то бьет сильно. И стоило его задеть, как мигом исчезала пелена, делавшая его взор туманным, глаза блуждали и кололи, как заточенные стрелы, пронзая людей насквозь.

Так он вел себя всю зиму. Но если к нему относились мягко и оставляли его в покое, Микко был кротким и добрым. Он слепо верил в то, что вскоре разбогатеет. Когда-то он и вправду был богат — ему принадлежала вся Лапландия.

Однажды в конце весны Микко сидел и слушал одного больного, школьного учителя, вслух читавшего газеты. Тонким хрипловатым голоском тот пробегал заметку за заметкой, тщательно выговаривая каждое слово. Учитель делал это каждый день, и кто-нибудь всегда сидел подле него и слушал. Микко был одним из постоянных слушателей. Когда речь заходила о чем-то драматичном или тема казалась ему знакомой, он что-то бормотал, ерзая на стуле. Чаще всего он сидел совсем тихо.

Но вот однажды учитель прочитал про редкостный корунд, великолепную Звезду Лапландии, которую недавно продали за границу, причем через посредника, и никто не знал, кто был ее истинный владелец. Немецкий покупатель заплатил за камень бешеные деньги — судя по заметке, целое состояние. В газете говорилось также, что камень нашли в районе приисков близ Лемменйоки.

Тут Микко взорвался. Вскочив, он заревел, как бешеный медведь, и требовал, чтобы учитель снова перечитал заметку. Прослушав еще раз текст, Микко тут же сник и, как-то странно присмирев, отправился к себе в палату. Он так долго не выходил оттуда, что сестре-хозяйке пришлось пойти позвать его к обеду, а такое бывает лишь в том случае, когда у человека что-то не в порядке. Ведь в местах, где людям делать совсем нечего, они обычно сидят и только дожидаются еды.

Войдя в палату к Микко, сестра-хозяйка обнаружила, что он сидит, обхватив голову руками, но глаза его были чистыми и ясными — пелена и блуждающий взгляд бесследно исчезли.

А в углу на столе лежал камень, над которым Микко так трясся.

Сестра спросила, как он себя чувствует. Микко ответил не сразу, но в конце концов произнес:

— Как-то странно. Я сам себя не узнаю...

Потом пристально взглянул на сестру, осмотрелся в помещении и, заметив камень на столе, спросил:

— Что это за камень?

Сестра совсем остолбенела. Но она не первый год работала в больнице и решила проверить Микко.

— Это ж твой камень, Микко! — заметила она, глядя на больного.

Микко снова посмотрел на камень, долго не отрывая от него взгляда. Сестра видела, как он напряженно думает. Наконец Микко ответил:

— Нет, нет, я никогда его не видел. Это совсем не мой камень!

И он снова задумался, взявшись за голову. Возможно, у него болела голова.

Сестра-хозяйка увела его в столовую, но Микко почти не притронулся к еде. После обеда, подойдя к сестре, он сказал, что в гостинице слишком шумно и ему хотелось бы поскорее возвратиться в Лапландию.

— Что ж, это, наверно, возможно,— ответила она.— Только пусть доктор решит, достаточно ли ты поправился.

В тот же день врач выписал его из больницы, а еще через два дня он был уже в Лапландии. Теперь он снова, как и прежде, бродит по лесам — рыбачит, охотится и ведет себя как обычный человек.

Но о большом корунде, Звезде Лапландии, Микко больше никогда не говорит, этот камень словно вылетел у него из памяти. И если кто-нибудь его об этом спрашивает, Микко смотрит в ответ недоуменным взглядом.

Но самое удивительное в том, что Микко навсегда покончил со старательством. Ведь у него был собственный участок, но он его забросил, а с другими старателями не желает иметь никаких дел. Отправляясь в Патсойоки, в свою жалкую лачужку, чтобы половить в реке форели, он далеко обходит Екеляпяя, Миесийоки и весь район приисков в Култале.

— Ну вот,— говорит Ниило, закончив наконец рассказ.— Теперь как раз время проверить сети. Может, ты поможешь мне чуток и посидишь на веслах?

Солнце поднимается все выше. Вода в Инари ясна и прозрачна, как стекло, то тут, то там в сетях заметны серебристая форель и красноватый голец, а кое-где и сиг. Пожалуй, наберется несколько килограммов. За день выручка составит крон десять, максимум пятнадцать, но Ниило и этому доволен.

Я покидаю рыбака, пускаясь наугад между бесконечными островками и шхерами на Инари; утреннее солнце и легкий бриз разрывают туманную дымку, в ушах у меня звучат слова Ниило. Он будто пропел мне концовку волнующей песни, чудесную старую легенду.

Микко, Микко! Мы наверняка еще встретимся в глубине твоих многомильных лесов, может где-то на оленьей тропе. Нам есть о чем поговорить, а печальную историю о твоей Звезде Лапландии мы не упомянем ни единым словом.







Аня-дочь сколтов

Мы сидим с ней на крыльце, а перед нами раскинулось озеро саамов-сколтов, такое спокойное и блестящее в этот тихий июльский вечер. То тут, то там, разрывая зеркальную гладь озера, над поверхностью воды мелькает рыба, и от нее кольцами, постепенно затихая, расходятся большие круги.

— До чего ж комар сегодня злой,— произносит Наталия, обмахиваясь березовой веткой.

— Не к дождю ли?

— Да, наверное. Я это чувствую.

Кто-то движется по тропе к домику, где мы сидим; меж стволами сосен мелькает светлая одежда, и постепенно фигура обретает форму, превращаясь в молодую красивую девушку. Более красивой женщины мне, возможно, никогда не доводилось видеть. У нее блестящие черные волосы, которые ниспадают до плеч, греческий профиль, чистый и красивый, глубокие темные глаза. Кожа удивительно свежая, тело гибкое и стройное. Движения ее необычайно мягки и грациозны.

Девушка здоровается с нами, перекидывается несколькими словами с Наталией, а на меня кидает беглый взгляд. Затем той же мягкой и ритмичной походкой снова продолжает путь, словно призрак исчезая меж деревьев.

Я спрашиваю, кто она такая.

— Ты разве не знаешь Аню? — удивленно говорит Наталия.— Это дочь Бараски, они живут в глубине залива.

Так, значит, это дочь Бараски! Конечно, я о ней наслышан. Аня, дочь саамов-скольтов, одна из первых красавиц Северной Финляндии. Но я ни разу ее не встречал.

— Аня — хорошая девушка,— продолжает Наталия.— Честь свою, как надо, бережет, не бегает от одного парня к другому. Люди, правда, говорят, что она гордячка и знает себе цену. На самом же деле это не так, просто парни для нее совсем не интересны. Я знала Аню еще маленькой девочкой. Она тихая, застенчивая, даже чурается людей.

— Знаешь,— продолжает Наталия, упираясь своим острым локтем мне прямо в бок,— видел бы ты Аню в церкви в ее самом красивом наряде! Она стоит не шелохнувшись и никогда не бросит взгляда на кого-либо из парней. А когда она выходит из церкви, все только и смотрят на нее. Но стоит появиться туристу с аппаратом, как она тотчас исчезает. Да и после службы она уходит первой. Ее никогда не увидеть на танцах, не гуляет она и с друзьями.

Наталия пристально смотрит на озеро. Опустив березовую ветку, которую держит в руках, она погружается в глубокие раздумья.

Комар кусает ее в губу, она вздрагивает и, шлепнув себя ладонью по рту, снова машет березовой веткой.

— Аня любит сказки. В детстве она могла сидеть и слушать их часами, от души переживая все, что в них происходило. Порой она так волновалась, что громко вскрикивала, смеялась или плакала.

Мне кажется, она живет в какой-то сказочной стране. Возможно, ходит и мечтает совсем о другой жизни. Такая и сама Бараска. Жизнь ее была суровой и тяжелой. Муж утонул, когда Ане было только семь лет, и с той поры Бараска все время в одиночестве, рыбачит и разводит овец. Я уверена, они с Аней создали свой собственный мир, большой, богатый и совсем чужой, так непохожий на нашу скудную действительность. Наверно, это помогло им выжить, и при всей их бедности и одиночестве у Ани и Бараски всегда такой веселый и довольный вид.

— Представь себе,— продолжает Наталия, устремляя взгляд куда-то вдаль,— представь, как хорошо иметь такой мир, в котором можно, если надо, скрыться! К примеру, мне живется хорошо. У Югара есть почти всегда работа, а дети наши выросли, переженились и хорошо устроены. Мы не голодаем, и все, что надо, у нас есть. И все-таки бывает, что ты не до конца доволен, и хочется тебе в тот сказочный мирок, какой имеют Аня и Бараска.

Какое-то время я продолжаю сидеть у Наталии. Может, снова появится Аня, она, очевидно, пойдет домой тем же самым путем. Было бы приятно еще раз взглянуть на эту красивую девушку.

Мы говорим о плохой рыбалке, о засухе и опасности лесных пожаров, о комарах, которые становятся все более назойливы. Но Аня не возвращается. Куда же она отправилась? Когда беседа больше не ладится и Наталия начинает зевать, то и дело раскрывая свой беззубый рот, я прощаюсь и ухожу. Красавицу Аню я наверняка увижу в другой раз.

Неделю спустя у саамов-сколтов был церковный праздник. Я пришел слишком поздно, и в маленькой церквушке, где даже нет скамеек, мне все равно не досталось места. К тому же там очень жарко, градусов тридцать, не меньше. Простоять навытяжку или на коленях двухчасовую службу не так-то легко, особенно тому, на ком надет саамский костюм. Но как и все северные люди, саамы-сколты, очевидно, столь же хорошо переносили летний зной в церквушке, как и трескучий зимний мороз, когда даже ртуть в термометре замерзает.

После службы я встретил на пригорке перед церковью Наталию и Югара. Лицо ее, как обычно, было сухим, коричневым и сплошь в морщинах. Югар же был весь в поту, даже волосы и те взмокли. Наталия сияла точно солнце, не уставая кивать знакомым.

Неожиданно взяв меня под руку, она шепчет тихим голосом:

— Позади тебя стоит Аня. Да еще при всех болтает с этим художником!

Я поворачиваюсь и становлюсь рядом с Наталией. Поднимаю глаза и вижу перед собой Аню, еще более красивую и привлекательную, чем при первой встрече. Красота ее кажется хрупкой и нежной, а взгляд каким-то отсутствующим, словно скрыт вуалью. Движения мягки и грациозны, но есть в них что-то далекое и отвлеченное, и кажется, будто ее окружает невидимая стена, которая держит всех вокруг на расстоянии. До меня вдруг доходит смысл того, что говорила Наталия в тот тихий вечер на крыльце у озера,— Аня живет в своем особом мире, большом, богатом и чужом, понять который нам, непосвященным, не дано.

Рядом с красавицей стоит статный мужчина в охотничьей шляпе, короткой куртке, клетчатых спортивных брюках и кожаных сапогах. У него темные баки и небольшая черная козлиная бородка. Через плечо перекинута кожаная сумка. Он отличается и от саамов и от туристов — наверняка чужая птица в царстве саамов-сколтов.

Он что-то говорит Ане. Мне не слышны его слова, они тонут в гуле многоголосой толпы. Но видно, что он все время запинается и подбирает нужные слова, чешет себе затылок и

жестикулирует. Видно, что он знает совсем немного финских слов и объясняться ему крайне трудно.

Аня и незнакомец привлекают к себе внимание, все глаза устремлены на них. Люди теряются в догадках, смотрят друг на друга удивленным взглядом, многозначительно кивают и подмигивают.

Аня чувствует на себе эти взгляды. Вся съежившись, она становится какой-то тонкой и тщедушной, в конце концов убегает, словно испуганный зверек, исчезая среди людей и деревьев.

Человек в ботфортах, с козлиной бородкой беспокойно ходит вокруг, будто что-то потерял. Он приветливо здоровается со знакомыми, но глаза его все время блуждают.

Я узнаю его. Раза два я встречал его на дороге, а однажды видел в столовой при гостинице. Спрашиваю Наталию, кто он.

— Это художник,— деловито шепчет она.— Один раз он приходил к нам на мыс и рисовал озеро. Говорят, иностранец, откуда-то издалека, и имя у него такое странное. В прошлое лето он тоже приезжал сюда, но только на один день. А нынче живет уже несколько недель. Вначале жил в гостинице, потом снял себе домик.

— Он хорошо рисует?

— Не знаю, его картин я не видела. Но люди говорят, что он большой художник и за свои картины получает много денег.

Наталия еще ближе наклоняется ко мне и возбужденно шепчет:

— Говорят, очень богатый. Ему по почте приходят деньги, много денег. И хороший человек!

Глаза ее становятся большими и круглыми, губы дрожат. Может быть, все это только воображение, но мне кажется, будто в ее взгляде я читаю взволнованную мысль, а дрожащие губы словно шепчут слова:

— А что... а что, если он и есть мечта Ани...

В следующие дни мысли мои то и дело возвращались к Ане и художнику. Однажды вечером я зашел к Ивану и Феодесии, двум саамам-скoлтам, жившим особняком по ту сторону озера. Они уже слышали, что незнакомец был из Греции и что он очень богат. Как-то раз он переплыл озеро на лодке, сошел на берег и поздоровался с ними. Он знал несколько слов по-фински, но, поскольку Иван и Феодесия были люди старые и сами лишь недавно научились говорить по-фински, беседа у них шла туго.

Незнакомец попросил разрешения нарисовать маленький красный домик, так живописно стоявший на мысу. Я спросил Феодесию, красивая ли вышла картина, но она ответила очень сердито:

— Одни цветные пятна, даже ничего не узнать. Наш домик превратился в красную кляксу!

Феодесия предложила художнику чаю. Войдя в комнату и заметив в углу икону, он перекрестился.

— Он той же веры, что и мы, это хороший человек,— сказал Иван, распрямляя согнутую спину.— А картины его, видать, такие современные, что нам их просто не понять.

От Ивана и Феодесии я пошел по тропе в глубь залива к домику Бараски. Был солнечный тихий вечер, и путь длиной в несколько километров был одним из тех сказочных странствий, какие столь обычны в девственных лесах на севере Финляндии! Старые сосны стоят, покосившись от старости и непогоды, а в нижней части стволов кора деревьев достигает десяти сантиметров в толщину. Пустоши и пригорки в оленьем мхе, среди деревьев сверкает зеркальная гладь озера. Звонко щебечет синица. В маленькой мелкой бухточке я спугиваю в воздух красавца-крохаля, и тот, мощно хлопая по воде крыльями и издавая хриплые крики, стремительно летит в глубь озера. Где-то поблизости сидят его супруга и птенцы.

В глубине узкого залива, на берегу, стоит домик Бараски. В заливчик впадает ручей, скрытый в зарослях густых растений. Я перехожу крохотный мостик, и взору открывается небольшая поляна, а за ней, совсем невдалеке, домик Бараски.

Но картина, которую я вижу, заставляет меня резко остановиться и даже сделать несколько шагов назад. В тени большой березы перед домом стоит художник-грек со своим мольбертом, а на крыльце, одетая в свое лучшее выходное платье, устроилась Аня. На мольберте укреплен большой холст. Оба смеются и весело болтают. Аня уже не робкая и не застенчивая, она стала какой-то открытой и раскованной, разговаривает, ничуть не смущаясь, то и дело от души смеется. Мать сидит на скамейке и чинит сети. И когда смех Ани, словно звучная фанфара, летит над заливом, мать поднимает глаза, медленно качает головой и тоже как будто начинает немного смеяться.

Время от времени грек отступает чуть назад, изучая картину, подносит кисточку к палитре и делает пару мазков, возможно что-то поправляя. То и дело он раздраженно отгоняет мух и слепней.

Еще светит солнце, теплый воздух колеблется над блестящей поверхностью залива, а из густых зарослей у ручья доносятся мелодичные трели варакушки. Все кажется какой-то пасторальной идиллией, словно призрачный и нереальный мираж. И в голову лезут слова Наталии, хотя и невысказанные вслух, но так четко слышанные мною там, на пригорке у церкви.

Чтобы не помешать, я отступаю назад и далеко обхожу домик Бараски. Когда, выйдя наконец на тропу по другую сторону залива, я снова вижу домик, грек по-прежнему рисует у мольберта, а Аня сидит на крыльце. Отойдя немного дальше, я слышу ее звонкий смех, точно веселое напутствие в дорогу.

Наталия сейчас одна. Как и Бараска, она сидит перед домиком и чинит сети. Едва ответив на мое приветствие, она с нетерпением спрашивает:

— Ты от Бараски?

Я отвечаю, что ходил по тропе вдоль залива, но дом Бараски обошел стороной.

— Он был там, этот грек?

Я рассказываю ей о том, что видел и слышал. Наталия раскачивает телом из стороны в сторону, вид у нее довольный и вместе с тем какой-то несчастный.

— Он торчит там почти каждый день. Иногда приплывает на лодке, другой раз идет пешком и тогда проходит вот тут по тропе. Он так вежливо здоровается, это человек воспитанный. Говорят, очень богатый.

Внезапно она мрачнеет, сжимает губы и бросает на меня озабоченный взгляд.

— Я боюсь,— говорит она.— Боюсь, как бы Аня и Бараска не поверили, что он и есть тот богатый, большой и неведомый мир, о котором они всегда мечтали. И может, так и есть? Будем надеяться. Но мне кажется, что они сейчас попали в мир ложный и опасный. Мне так страшно — страшно за Аню. Знаешь, ведь я ее крестная...

— Ты слышал? — продолжает Наталия шепотом, словно боится услышать собственные слова.— В гостинице говорят, что он дворянин. Греческий дворянин. И очень богатый!

Наталия так увлечена своим рассказом, что опускается на колоду и сидит, раскачивая телом. Потом начинает что-то напевать. Резкий голос ее постепенно переходит в мягкий, напевный тон. Губы складывают слова, возникает какая-то песенка, небольшой импровизированный саамский напев, рожденный глубоким страхом и головокружительными надеждами:

Если б только знать,
что может в жизни ждать
нашу милую красавицу Анку!

Она снова и снова повторяет свой монотонный саамский «йоик», потом внезапно поднимается и энергично произносит:

— Да храни господь нашу Аню.

Затем она берет меня под руку и ведет в дом. Склонившись перед иконой, она крестится.

— Будем пить чай,— говорит Наталия, разжигая плиту.— Настоящий крепкий чай.

Пока огонь разгорается и вода медленно приближается к точке кипения, она достает чашки и блюдо с хлебом.

— Жаль, что самовар наш остался в Суеньеле! В нем получался такой ароматный вкусный чай. Но мы не могли все унести с собой, и Югар припрятал самовар в лесу, рассчитывая сходить за ним в другой раз. Но никак не выберет время.

Я прощаюсь с Наталией, и она снова молвит с беспокойством и тревогой:

— Да храни ее господь!

В последующие недели я странствовал в лесах к востоку от Инари, в сторону русской границы. Эти пограничные места бедны и пустынны, от хутора до хутора пройдешь другой раз не один десяток километров, да и хутора эти большей частью стоят пустые и покинутые. Но старинные предания об этих местах продолжают жить и поныне, они частично сохранились в длинных названиях озер, болот и гор. Здесь когда-то обитали настоящие дикие олени, кое-где еще можно обнаружить останки этих животных. Водятся волк и росомаха, лебедь-кликун и дикий гусь. В озерах много рыбы, но из года в год ее становится все меньше, да и сети рыбака можно увидеть реже. Места вокруг озер Цармитунтурит и Силькусерви с каждым годом становятся все более пустынными и безлюдными.

Вернувшись в населенные места, я обнаружил, что разговоры об Ане и греческом художнике пошли уже всерьез. Теперь их все чаще видели вместе и стали поговаривать о том, что Аня, возможно, поедет скоро на юг, в Рованиеми, а может быть, даже и в Хельсинки. Во всех разговорах сквозили надежда и страх, но вместе с тем оттенок гордости и любопытства. Утверждали, что материальные дела Бараски пошли намного лучше. Она купила себе новые сети и новую одежду, а в сельской лавке ее закупки уже не были столь скромными, как раньше. К тому же платить она стала наличными, а порой имела даже крупные купюры. Но важности Бараска на себя не напускала, ведя такой же образ жизни, как и прежде.

Когда в конце лета я покидал эти места на Инари, грек еще тут оставался. Что-то, я чувствовал, назревает. Он либо влюбился в очаровательную Аню, либо, что скорее всего, был очарован Лапландией и стал, что называется у финнов, «лапин хуллу».

Для грека-художника, даже если он дворянин и очень состоятельный, обе альтернативы были достаточно серьезны.

На следующий год, в разгар лета, мне довелось снова побывать на Инари, увидеть среди обветренных и узловатых сосен его блестящие серебряные воды. Озеро, как всегда, было ясным и прозрачным, а многочисленные острова покрыты тем же пышным девственным лесом — свинцово-серые сухие сосны стояли склонившись в разные стороны, покинутые хутора казались еще более одинокими и заброшенными. Серебристая форель, попав на крючок рыбака, все так же энергично боролась за жизнь, и все, по крайней мере внешне, казалось таким же, как прежде.

Но очень скоро мне довелось услышать почти сенсационные новости. Аня уехала в Грецию. Она вышла замуж за своего знатного художника и жила теперь в доме, который походил скорее на дворец, как настоящая принцесса, имея все, что только можно пожелать. Слухам о ней не было конца, и большей частью они были вздорны. Аня теперь стала для сколтов своего рода сказочной фигурой, источником всяких домыслов и догадок. Среди пожилых людей находились и такие, кто считал, что Аня изменила родным местам, что ей надо было выйти замуж за одного из себе подобных и, следуя долгу и традициям, остаться здесь, среди пустынных лесов и бескрайней полярной тундры. И теперь, когда Аня уехала, будет еще труднее убедить молодежь не уезжать из дому, сохраняя в чистоте кровь своего племени. Аня стала как бы авантюристкой, которая своим примером толкает девушек к погибели.

Но много было и таких, кто Аней гордился. Тихая, застенчивая, она осуществила то, о чем мечтают многие девушки из тех, кто начитался в журналах фальшивых романтических историй. Аня стала для них идеалом, она показала всем, что мир не ограничивается бедным и пустынным уголком в дебрях мрачных лесов вокруг Инари. Ее пример волновал и будоражил молодые души, и самые смелые решили: прочь от этой серой скуки, в большой далекий мир, полный интересных приключений. Пользуйтесь случаем, чтобы добиться достойного существования. Аня показала нам путь!

Однажды я отправился к Наталии, надеясь разузнать подробнее, что, собственно, произошло и где тут правда, а где вымысел. Наталия — умная и мудрая, она крепко стоит на холодной земле Северной Финляндии. На слова ее можно положиться.

Увидев меня, Наталия приветливо улыбается и тотчас ставит чайник на огонь.

— Ты, видно, слышал про Аню? — говорит она без промедления.

Я рассказываю о том, что успел услышать, и добавляю, что надеюсь от нее узнать правду. Как бы в шутку замечаю, что теперь у саамов-сколтов есть новое предание, которое они смогут рассказывать детям.

— Предание? — произносит Наталия, и лицо ее становится серьезным.— Наши предания красивы и правдивы, и в них кроется всегда глубокий смысл.

— А разве история об Ане хуже других преданий?

Наталия хлопочет у плиты. Достает чашки, сахар и миску. Наконец отвечает, не оборачиваясь в мою сторону:

— Не знаю.

Тон ее стал более суровым, и я чувствую, что ей известно про Аню что-то такое, о чем рассказывать не очень приятно. Если я наберусь терпения, она сама затронет эту тему. Но сна-

чала мы выпьем чаю, крепкого, вкусного чаю. Наталия снова рассказывает про самовар, который им пришлось оставить в лесу.

Мы беседуем о рыбалке, об овцах, о работе Югара и прочих будничных делах. И конечно, о смертях и болезнях.

Чай греет и бодрит. Постепенно Наталия сама заводит разговор об Ане — не перейти на эту тему она, конечно, не могла, судьба Ани ее по-прежнему волнует.

— Ты, значит, думал об Ане,— говорит она.— Да, я тоже о ней думаю, и у меня она не выходит из головы. Она вышла замуж за богатого, имеет все, что только может пожелать, но хорошо ли ей там, в этой жизни среди роскоши и богатства?

Иногда Аня пишет домой. Но писать на нашем языке она так и не научилась. Уверяет, что это очень трудно, хотя говорить она умеет. В школе Аня научилась писать по-фински, но Бараска почти не говорит по-фински, читать же совсем не умеет, и, когда Аня пишет матери, кто-нибудь посторонний читает Бараске ее письма.

Лично я не очень-то читаю по-фински, в моем возрасте не так легко выучить новый язык. Но Югар прилично читает по-фински: он выучился, работая прежде почтальоном. Получив от Ани письмо, Бараска приходит к нам, и Югар читает ей вслух. Потому-то я и знаю все, что Аня пишет матери.

Она, видно, рассказывает правду, но только на свой манер. Живет в большом доме, имеет много слуг, делает все, что хочет. Она уже неплохо знает греческий и одновременно занимается английским. Муж обучил ее многим новым и трудным обычаям, тому, как вести себя в их обществе. Аня, наверное, станет той светской дамой, о которых мы читаем в газетах. Муж покупает ей лучшую одежду, дорогие украшения; выезжая в гости, где собирается много знатной публики, Аня всегда вызывает сенсацию. Ведь даже дома, в своих жалких тряпках, она была необычайно хороша, а теперь, при своих новых возможностях в Греции, она, конечно, неописуемо красива. Я это хорошо понимаю. К тому же по характеру она тихая, застенчивая, никого не раздражает, не наживает себе врагов.

Наталия выглядывает в окно и замечает, что в ее крохотный садик забрались овцы.

— Обожди чуток! — кричит она и выбегает наружу, чтобы прогнать скотину.

Возвращается она не сразу, а я все думаю и думаю об Ане. Там, в Греции, она, конечно, стала весьма популярной красавицей. Ее бесстрастная и сдержанная манера обхождения с незнакомыми людьми, наверное, импонирует темпераментным и подвижным грекам, и они смотрят на нее как на существо таинственное и загадочное. И если муж к тому же рассказал, что нашел ее у берегов Северного Ледовитого океана, в глубине бескрайних дремучих лесов, то она, конечно, стала неким ми-

фом, настоящей экзотической находкой. Я уверен, она великолепно вживается в эту роль — тихая и сдержанная, холодная и гордая, не приемлющая никаких услуг...

Наталия возвращается в дом и наливает еще чаю. Отпивает глоток блестящего, как темное золото, напитка и озабоченно смотрит мне в глаза.

— Аня одинока,— говорит она,— совсем одинока. Ее девичья мечта осуществилась, все то, что они с Бараской так много лет вынашивали в своем воображении, стало теперь действительностью. Бараска счастлива. Когда Югар читает ей вслух письма, она плачет от счастья и благодарит бога за то, что ее дочери так хорошо. Почти в каждом письме ей шлют длинную бумагу с непонятными подписями и диковинными печатями. Когда она несет эту бумагу в банк, ей дают там деньги. Так что Бараска, видно, счастлива в своем одиночестве. Ее Аня стала княгиней, светской дамой, о чем мечтала мать с тех пор, как умер муж. Его смерть она перенесла так тяжело, что с тех пор даже разум у нее немного помутился.

Но Аня! Не знаю почему, но у меня такое чувство, что она не очень счастлива в своей новой жизни. Мне кажется, она там одинока, и на душе у нее не спокойно. Она дитя леса. Вместе с матерью все детство и юность она жила в мире собственной фантазии, а голод, холод и тяготы жизни только питали эту мечту.

Аня — натура созерцательная, и фантазия ее беспредельна. Чтобы чувствовать себя уютно, она должна мечтать и в своей новой жизни. Но о чем же ей теперь мечтать?

— Знаешь что,— продолжает Наталия, пронизывая меня своим задумчивым взглядом.— Мне кажется, Аня тоскует по дому. Я думаю, она устала от роскоши и богатства и понимает, что жизнь там бедна и бессодержательна по сравнению с жизнью в наших лесах, на просторах Северной Финляндии, при всей ее непроглядной нищете. Я думаю, мечта о новой жизни принесла ей лишь разочарование.

В одном из последних писем Аня рассказала, что была на карнавале. Всем надо было как-то нарядиться, и Аня надела свой саамский костюм, ничего не сказав об этом мужу, а глаза прикрыла маской.

Муж сразу же ее узнал и попросил поехать домой, надеть что-нибудь другое; сказал, что если надо нарядиться к карнавалу, то саамский выходной костюм для этой цели не подходит.

В этот момент к ним подошел один доктор и спросил, где она одолжила свой наряд.

— Это мой собственный костюм,— ответила Аня.— Выходной костюм, чтобы ходить в церковь.

— Значит, вы из саамов! Саамов-сколтов! — заметил доктор с явным удивлением.

Муж Ани стоял рядом и все слышал. Рассердившись, он сказал жене, чтобы та больше никогда не надевала свой саамский костюм, кроме как у него в мастерской, когда он ее рисует. Кстати, она единственная, кому разрешают появляться в этой мастерской.

Наталия отпивает глоток тепловатого чая и сидит молчаливая и задумчивая. Что-то ее, видно, тревожит.

— Аня тоскует по дому. Потому-то она и надела костюм. Об этом можно прочитать между строк в ее письмах. Она так подробно расспрашивает обо всех делах, но Бараска ничего не понимает, она просто счастлива за дочь и поэтому слепа в своей любви. Впрочем, такой она была всегда с тех пор, как стала вдовой. Да и Югар понимает не больше. Ведь он целиком поглощен чтением и не очень-то запоминает, о чем там Аня пишет.

— Значит, ты думаешь, что в один прекрасный день она возвратится домой?

— Аня? Домой? Нет, никогда. Для этого она слишком горда. Скорее заболеет от тоски. Или покончит с собой. Да, поверь моим словам, ни ты, ни я, ни Бараска никогда Аню больше не увидим. Об этом тяжко говорить, но я думаю, что так оно и будет, предчувствия меня не обманут.

На глаза у Наталии наворачиваются слезы, и она начинает раскачиваться из стороны в сторону. Она взволнована: поговорить об Ане, доверить сокровенные мысли и чувства ей было не с кем.

Слезы катятся у нее по щекам. Беззвучно плача, Наталия бормочет какие-то бессвязные слова, все время повторяя их, жалобно и монотонно. Это даже не плач, а какой-то отчаянный крик, причитание на языке саамов-сколтов!

Когда она наконец успокоилась, я поднимаюсь, чтобы уйти. Наталия хватает мою руку и стискивает ее в своих ладонях. Руки ее теплые, даже горячие. Глаза налиты кровью, под носом повисла капля. Своим беззубым ртом Наталия дарит мне красивую и добрую улыбку. Я невольно замечаю, что в молодости Наталия наверняка была красива, и мне становится еще понятнее ее живой интерес к Ане.

Пройдя несколько десятков шагов, я оборачиваюсь. Наталия стоит в дверях, озабоченно качая головой и вытирая слезы тыльной стороной ладони. Я направляюсь дальше, и последнее, что я вижу,— ее рука, которая словно машет мне вслед.

После встречи с Наталией настроение у меня подавленное. Остается надеяться, что положение Ани кажется ей излишне мрачным, но ведь она-то знает Аню лучше, чем кто-либо другой. К тому же Наталия славится своей особой интуицией, и почти все, что она предсказывает, сбывается со зловещей точностью.

Прошло несколько лет, и разговоры об Ане стали затихать. Письма ее к Бараске приходили все реже и становились с каждым разом короче. Сам я редко приезжал в финскую Лапландию, и история Ани ушла куда-то в забытье, уступив место новым знакомствам и новым судьбам.

Как-то летом я странствовал по полуострову Варангер. На вершине голой и плоской горы Кьельтинден я присел отдохнуть, любуясь превосходным пейзажем. Вдали, на западе, на севере и на востоке, в тонкой дымке простирался Северный Ледовитый океан. Море и небо сливались воедино, и мне казалось, что где-то далеко к востоку я вижу очертания земли. Может, это Новая Земля?

Спустя час, когда я отправился дальше, к рыбацким поселкам в западной части полуострова, мне повстречался один врач-немец. Влюбленный в природу Северной Скандинавии, он уже не первое лето путешествовал по суровым пустынным местам, в основном на норвежской территории.

В одно из таких путешествий, плавая на лодке по озеру Инари, он познакомился с рыбаками из саамов-сколтов. В войну этот врач, находясь в плену, работал в лагере для военнопленных где-то на территории России. Тогда он научился говорить по-русски и мог теперь немного объясняться с пожилыми саамами-сколтами, которых встречал на берегах Инари.

Немец проявил к саамам-сколтам живой интерес. Не уставая задавать вопросы, он хотел узнать буквально все про этот небольшой народ, и я рассказал ему, как умел.

Когда беседа наша понемногу заглохла, немец погрузился в собственные мысли, а потом стал рассказывать сам:

— В прошлое рождество я был в Греции в гостях у хорошего друга, врача одной из больниц в Афинах. Жил я у него дома. Погода была — лучше и желать нельзя, еда превосходна, а хозяева мои — интересные, культурные люди. Чувствовал себя преотлично.

В то время мой друг часто дежурил в больнице. Как-то дня за два до рождества, вернувшись в середине дня с дежурства, он рассказал, что привезли больную в очень тяжелом состоянии. Она была замужем за одним из самых известных художников Греции, но мужа он еще не видел, хотя и послал за ним. Женщина была очень красива. Мой друг сказал, что ему, пожалуй, такую красавицу никогда еще не доводилось видеть.

У больной была высокая температура, и она находилась в бреду. Судя по всему, часы ее были сочтены. Иногда ему удавалось различить какое-то греческое или английское слово, но большей частью это был язык, который он никогда прежде не слышал. Скорее всего слова напоминали русский *.

* Предположение автора о том, что язык сколтов напоминает русский язык, не соответствует действительности. Сколты говорят на особом диалекте саамского языка, который входит в финно-угорскую семью языков и

Мой друг знал, что я был в России в плену, могу объясняться по-русски, и он попросил меня пойти в больницу и послушать, что говорит больная.

Мы поехали вместе и вскоре стояли у ее постели. Друг был прав, она действительно была необычайно хороша: лицо чисто классических форм, волосы почти что черные, а глаза темно-карие.

Временами она что-то тихо говорила. Голос был совсем слабый, почти что шепот. Руки больной беспокойно двигались по простыне, на пальцах были два кольца с необыкновенно красивыми камнями, стоившими, несомненно, целое состояние.

Женщина нас не видела и не слышала. Ее большие темные глаза, такие выразительные, влажные и блестящие, неподвижно смотрели в потолок.

Я опустился рядом с ней на стул и вскоре уже мог различать отдельные слова. Вначале мне показалось, что она говорит на каком-то русском диалекте, но иногда называет большое озеро, где много островов, и до меня дошло, что это, должно быть, Инари.

Но вот она упомянула название этого озера, и я понял, что это был язык саамов-сколтов. Разобрать, что она говорила, было почти невозможно, лишь изредка мне удавалось уловить отдельные слова. Женщина, видимо, принадлежала к народу саамов-сколтов, но поверить в это было трудно — девушка из саамов тут, в Греции, замужем за человеком из старинной состоятельной дворянской семьи. Позднее мне рассказали, как славилась она своей красотой, скромностью и сдержанным характером. Все ее любили. Такие удивительные судьбы можно встретить в Греции нередко.

— И что же дальше?

— Она скончалась к утру. Врачи так и не смогли ей помочь.

— От чего она скончалась?

Немец отвечает не сразу. Кажется, будто он не слышит моего вопроса. Потом внезапно произносит:

— Точно не помню, только знаю, что ей пытались делать промывание желудка.

с русским языком ничего общего не имеет. Отдельные заимствования из русского языка у этой группы саамов объясняются их прошлыми длительными контактами с русскими (саамы-сколты жили раньше в районе реки Печенги на Кольском полуострове).— *Примеч. науч. конс.*







Ночь у стремнины Куккола

Если бы ты видел этот огонь, наблюдал за тем, как длинные, дрожащие языки пламени лизали камни очага посредине саамской коты, ты бы увидел, как на сумеречно-бледных, напряженных лицах людей играют багряные блики. И вкусил бы едкий запах копоти, нюхательного табаку и растопленного рыбьего жира. И конечно, свежего кофе.

Все это, читатель, ты бы мог увидеть теплой июльской ночью, когда здесь отмечают ритуальный праздник сига. И ты бы смог полакомиться жаренной на раскаленных углях рыбой под мерный аккомпанемент старинных финских песен.

Праздник сига в провинции Турнедален — зрелище особое, оно запомнится надолго. Примитивный лов сачками имеет тут давнишние традиции, а большущий бревенчатый дом построен еще в средневековье. Приготовление сига и культ самой рыбалки носят на себе печать языческих поверий.

Раньше все местное население собиралось на праздник в точном соответствии с древними правилами, только жители деревни сходились на особый ритуал, чтобы выразить свою признательность тем силам, которые помогли поймать так много сига.

Ныне наступили другие времена, и сюда съезжаются гости

со всей провинции Турнедален, из Питео, Лулео, Умео и даже из Стокгольма. В воскресный день, когда проводится праздник сига, тут собирается несколько тысяч человек. Люди танцуют, катаются на каруселях и развлекаются на аттракционах. Торговцы воздушными шарами громкоголосо рекламируют свои товары, вокруг полно палаток с сосисками и мороженым. У девушек ярко накрашены ногти, подведены брови, а молодые люди одеты по последней моде. То тут, то там мелькает форма полицейских.

Но сама рыбалка осталась такой же, как и раньше, хотя прошлое и настоящее сходятся тут воедино. Может быть, эти противоречия и делают праздник сига у нижней стремнины реки Турнеэльв столь красочным и ярким.

Стоит последнее воскресенье июля.

В Кукколе тьма народу. Найти комнату просто невозможно. Все уже снято на несколько месяцев вперед. Мне и самому негде ночевать. Но ведь бессонная ночь не столь уж большое несчастье!

У рыбаков тут есть свой бревенчатый домик-сарай, где они могут немного передохнуть. Его называют котой, но это не такая кота, что встречается у саамов-сколтов. Это простая лесная избушка с очагом посреди комнаты, мелкими оконцами и вместительными нарами в каждом углу. Места вполне хватит на двадцать рыбаков. Сейчас, в праздник, находчивые люди превратили домик в лавку для продажи рыбы. Свежепойманную рыбу жарят на углях и, плеснув на нее черпак соленой воды — при этом поднимаются клубы шипящего пара,— тут же продают рыбу раза в два дороже обычного. Дело идет бойко, в домике весь вечер полно народу. Во главе «дела» стоит один из рыбаков.

Я прихожу сюда к вечеру, с заходом солнца, и сижу много часов подряд. Какое-то зачарованное, приподнятое настроение, древние-древние песни — все это пленит и захватывает, как бы унося в далекую, давно ушедшую эпоху.

В перерыве между финскими песнями, которые поются монотонно, с раскатистым и звучным «р», тишина кажется какой-то призрачной. Ее нарушают лишь звуки капель жира, с шипением падающих на угли, да хлопоты дежурного, обязанность которого заключается в том, чтобы присмотреть за очагом, ведь если пламя будет слишком велико, то рыба просто-напросто сгорит.

Вот дежурный выходит с ведром, чтобы принести еще воды и соли. Я направляюсь вслед за ним и говорю, что ночевать мне негде и я хотел бы провести тут остаток ночи.

Окинув меня пристальным взглядом, он отвечает, что посторонним в лавке ночевать не полагается, но, конечно, если уж совсем нет крыши над головой — а вид у меня трезвый и вполне приличный,— тогда... пожалуй, он не возражает...

Я возвращаюсь в дом и устраиваюсь около очага. Сижу и смотрю прямо в пламя, вслушиваясь в медленное бормотание, в удивительно спетый хор голосов вокруг меня.

Глаза людей сверкают, на белой коже женщин и молодых людей играют языки пламени. Слышится приглушенный шепот.

Время от времени кто-то выпаливает поток каких-то непонятных финских слов. Не могу определить, то ли это древнее заклинание, то ли просто лестадианская молитва *. Наконец, слышу возбужденный выкрик, какую-то языческую здравицу, затем опять негромкое бормотание, которое постепенно замирает.

Один раз, когда уже спустились сумерки, раздался женский крик, громкий и пронзительный, внезапный, как удар хлыста, и грубо нарушающий покой. По дому прокатывается негромкий ропот, в отблесках яркого пламени так и светятся отдельные бледные лица.

Проходит час за часом. Кто-то покупает жареного сига, разрывает рыбу на куски и ест ее голыми руками. Кое-кто заедает рыбу хлебом.

Против меня сидит женщина, на вид ей лет двадцать пять — тридцать. Рядом с ней мальчик лет пяти-шести, наверняка ее сын. Женщина покупает сига. Она долго торгуется о цене и так же долго роется в маленьком кошельке в поисках денег. Получив рыбу, оба набрасываются на нее. Хлеба у них нет, они поглощают рыбу с такой жадностью, что больно смотреть.

Ближе к полуночи дверь то и дело отворяется, шумные молодые люди заглядывают внутрь, но тут же замолкают и пятятся назад. Праздник на улице закончился.

Ритуал с сигом тоже близится к концу. Песня затихает, а ряды подвешенной для копчения рыбы заметно поредели.

Один за другим гости покидают бревенчатый домик, и спустя полчаса остается лишь молодая женщина со своим сыном. Мальчик забрался на нары позади матери и заснул, укрытый дождевиком.

Женщина не отрываясь смотрит на догорающие угли, которые изредка вспыхивают, бросая дрожащие тени на бревенчатые стены лачуги.

По другую сторону очага дремлет дежурный, он то и дело клюет носом и вот-вот заснет. Но в конце концов он поднимается и, словно лунатик, бредет к двери, раскрывает ее и выходит наружу.

Вскоре он возвращается обратно, подкладывает в очаг новую порцию дров. Затем оглядывается по сторонам. С удивлением видит женщину и спящего мальчонку. Задумчиво почесывает затылок, похоже, хочет что-то сказать, но лишь ки-

---

* Лестадианцы — религиозная секта.

вает мне и, точно горностай, мягко и бесшумно снова выходит наружу.

Дверь за ним почти неслышно затворяется.

Огонь разгорается с новой силой, и в помещении становится довольно светло. На улице тоже занимаются первые проблески рассвета. Примерно через час над финскими просторами по ту сторону реки появится красный диск утреннего солнца.

Я украдкой наблюдаю за женщиной, сидящей против меня. Глаза у нее чуть раскосые, лицо довольно широкое, резко выдаются скулы. Лицо это удивительное: оно светится каким-то особым внутренним светом, и сейчас слабое утреннее освещение как бы подчеркивает ее красоту, хотя, судя по всему, она порядком устала.

А всего лишь час назад, сидя в тесноте среди других людей, в том числе и многих женщин, она выглядела совсем по-другому. Почему же теперь, в своем одиночестве, она стала вдруг такой красивой? И откуда эта озаренность тем особым, внутренним светом?

В домике тихо. Слышится лишь легкое дыхание мальчика и слабое, монотонное посвистывание пламени. Временами сильно потрескивают дрова, разбрасывая далеко вокруг искры, которые гаснут прямо на лету.

Это был долгий день. Я устал и давно уже хочу спать, однако все смотрю на эту странную женщину, сидящую против меня. Она ни на кого не похожа и кажется такой замкнутой и одинокой, будто вокруг ничего не существует.

О чем она думает, глядя на тлеющие угли? Возможно, у нее какое-то несчастье? Или просто ждет мужа, который гуляет со своими дружками, а может, и пьяный лежит под каким-нибудь кустом? Ведь за водкой далеко ходить не надо.

Время от времени я вижу ее глаза. Такие голубые-голубые. Светлые волосы зачесаны в толстые косы, в уголках рта играет едва заметная улыбка. Женщина кажется довольно привлекательной.

Усталость становится уже невыносимой, и я начинаю готовиться ко сну. Достаю спальный мешок, сворачиваю свитер, чтобы положить его под голову.

В помещении довольно тепло: очаг горел почти всю ночь. Интересно, что думают об этом женщина и ее сын?

Перед тем как забраться на нары, я спрашиваю ее, достаточно ли тут тепло. Не подложить ли еще дров.

Она поворачивается ко мне, удивленная. Похоже, что только сейчас она меня заметила.

Я бормочу какие-то извинения и ложусь на нары. Спальный мешок тонкий, а на голых, грубо обструганных досках повсюду торчат сучки. При других обстоятельствах такое суровое ложе могло бы вызвать у меня лишь раздражение, но

теперь я этого почти не замечаю. Я погружаюсь в сон. Треск горящих поленьев затихает где-то вдали, танцующие тени на стенах лачуги исчезают.

Перед тем как окончательно заснуть, почти что провалившись в сон, я слышу как бы вдалеке ее спокойный голос:

— Да, может, стоит подложить...

Сонный, я вскакиваю на ноги и подбрасываю дров. Самых смолистых. От них больше света и тепла. Но что скажет дежурный, если мы сожжем все его запасы? Сейчас не так уж холодно, а снаружи почти рассвело.

Но эта женщина! Она такая странная. Вряд ли она мерзнет, да и голодной быть она не может. Спать тоже как будто не собирается. Да и мне не заснуть, раз она просит прибавить в очаге огня. От него ведь летят такие искры, а нары очень сухие и могут легко воспламениться. А там, где лежит мальчик, набросаны еловые ветки, и они могут вспыхнуть как свечка.

Я снова забираюсь на нары, глаза мои вот-вот закроются. Но пока в очаге горит огонь, мне нельзя засыпать. Уж эти мне искры... Да и женщина, она ведь ничего не видит и не слышит...

Я упорно борюсь со сном. Веки совсем набухли. И когда я почти погружаюсь в сон, снова раздается голос:

— Ты был сегодня на собрании?

Слова как будто раздаются где-то далеко и вместе с тем почти что рядом.

Я медленно пробуждаюсь и в полудреме, полумашинально бормочу:

— А-а... Дело, значит, в том...

Опять становится тихо. Но вот я снова слышу голос, звучащий где-то далеко:

— Что ты сказал?

Да, что же я сказал? Мысль моя где-то блуждает, и я не в состоянии найти ей звуковую оболочку.

— Ты был на собрании?

Ах да, лестадианское собрание. Конечно, был. Только совсем недолго. Я не понимаю финского диалекта, к тому же мне пришлись не по душе эти дикие крики, качающиеся фигуры, все эти судорожно протянутые руки. Мне казалось, что я задохнусь там от жары и тошнотворных испарений. Я отвечаю ей почти что в полудреме:

— Да не-ет, у меня не было времени...

Наступает тишина. Я пытаюсь прийти в себя, чтобы дать более ясный ответ. Но ничего не получается. Мысль мою словно заело. В голове нарастает громкий гул, уши словно прикрыты пробкой.

В тот момент, когда я снова направляюсь в страну сновидений и все уже жужжит и гудит вокруг, опять раздается тот же голос:

— Ты дитя божье?

Дитя божье! Усталости во мне как не бывало, я начинаю мыслить вполне ясно. Внутри нарастает протест.

Мне надо, пожалуй, подумать. Вопрос был обращен ко мне или к мальчику? Но он спит, значит, она спрашивала меня, ведь больше никого нет.

Дитя ли ты божье? Такой вопрос мне часто задавали прежде, особенно на норвежской стороне Лапландии. И мне всегда было трудно ответить.

Можно, конечно, сказать, что все люди — дети божьи, коль скоро существует бог на свете. Но если его нет, чьи мы тогда дети, если не собственных родителей?

Не знаю.

Но все эти сентенции вряд ли интересны человеку верующему, который задает тебе вопрос и ждет с нетерпением ответа, ведь чувства и действия людей определяются во многом их привычками. Даже атеист охотно идет в церковь и распевает рождественские псалмы.

Я просто не знаю, что мне сказать, как-то не хочется ее обидеть.

Но вот я вспоминаю, как много лет тому назад, когда мне впервые задали такой же вопрос, я очень растерялся и чувствовал себя почти беспомощным. Но потом я узнал, что такой вопрос ведь можно понимать двояко. Дети божьи — это группа лестадианцев, создавших свой собственный приход, они-то и называют свою секту «Дети божьи».

Правда, я не знал, имела ли женщина в виду ту самую общину. Вопрос ее, видно, содержал более серьезный смысл.

Я мог схватиться за соломинку, но все же медлю с ответом, и женщина, повернувшись ко мне лицом, так же внимательно изучает меня, как она недавно смотрела на пламя очага.

— Ну-у? — резко спрашивает она наконец.

Я не колеблясь отвечаю «нет», но добавляю, что слышал об этой секте и питаю к ней уважение.

— Ты слышал голос бога?

Вопрос звучит уже мягче, но как-то внезапно, словно удар хлыста. Она снова ждет ответа, и отвертеться от вопроса будет нелегко.

Я отвечаю так, как уже сделал это однажды. Говорю, что не знаю, слышал ли голос бога. Правда, несколько раз, когда я был в опасности, мне казалось, что слышу чей-то голос. А может быть, молитву. Ведь все мы учим в школе закон божий, и вряд ли найдется человек, совсем не подверженный влиянию религии. Но был то голос божий или нет, этого я не знаю.

— Ты слышал, как тебя звал бог?

Что все это значит? Настоящий перекрестный допрос. Кто эта женщина, которая не дает мне спать и своими назойливыми вопросами нарушает мой душевный покой?

— Меня зовут Эмма. Бог послал меня, чтобы помочь всем грешникам. Я хочу тебе помочь, но и мне нужна твоя помощь.

Нет уж, с меня довольно. Я слишком устал, чтобы вступать с тобой в дискуссии, быть тебе в помощь иль в радость. Возможно, в другой раз. И кто ты такая, Эмма? Откуда ты? И куда идешь?

Шум ярмарки, чей-то далекий голос, едкий запах жареного сига, пронзительные крики лестадианцев, яркий свет огня посреди большой и темной лачуги, женщина с горящими глазами, рыбак, в восторге вынимающий сачком три рыбы сразу, слова о спасении души и назойливые вопросы — все это сливается воедино, танцуя у меня перед глазами бурную шальную польку. И снова раздается тот же теплый и спокойный голос:

— Ты веришь в бога?

Слова эти остановили польку, и я мигом вновь возвращаюсь к действительности. Женщина подложила дров, в лачуге стало светлее. Уже поднимается солнце.

Эмма как бы пронизывает меня своим взглядом и снова с упреком в голосе повторяет тот же вопрос, требуя сию минуту точного ответа.

Нет, я приехал в Кукколу вовсе не затем, чтобы кто-то меня допрашивал, выпытывая вещи, которые люди предпочитают держать в себе. Я ничего не отвечаю и сам перехожу в атаку. Спрашиваю ее о муже, о том, где он сейчас, и не пойти ли ей его разыскать. Рыбаки там, на причале, наверняка его видели.

В лачугу проникает свежий утренний ветерок, и дым от очага стелется низко по полу. Эмма буквально исчезает в сероватой мгле. Она сидит молча, пристально смотрит в огонь. Но после долгой паузы я снова слышу ее певучий голос, на этот раз с оттенком гордости:

— Муж мой — святой дух. Он и есть отец моего сына!

Что ж, возможно, так оно и есть. Я и сам начинаю в это верить.

Какое-то время я лежу, наблюдая за игрой теней, но мысль все время вертится вокруг этой несчастной, странной женщины. В просторных лесах Турнедалена можно нередко повстречать людей, подобных Эмме,— из секты лестадианцев, где они себя так истязают библией и фанатической верой, что нередко молодыми отправляются в мир иной.

Но вот, уже заснув или почти совсем заснув, я снова слышу ее голос; теперь в нем нет уже оттенка гордости, а скорее слышатся страх и мольба.

— Я в поисках святого духа. Помоги мне найти его...

Ладно, может быть, завтра. Только не сейчас.

Я просыпаюсь, почувствовав чье-то прикосновение. И слышу голос, так часто будивший меня в эту удивительнейшую ночь. Он уже больше не теплый и совсем не спокойный, а какой-то резкий и возбужденный.

— Ты и есть святой дух?

Эмма сидит на скамейке рядом с моими нарами. Она одинока и взволнованна, ее бог ей сейчас не помогает. Напряженное лицо как-то вытянулось, а глаза растерянно блуждают. Вид у нее страдальческий, чуть ли не безумный.

Милая Эмма, ты так возбуждена. Пойди и приляг рядом с сынишкой. Тебе ведь предстоит, наверно, долгий путь в глубь этих бескрайних лесов. Перестань же себя мучить. Тебе надо просто поспать.

Она переводит дыхание, пытаясь что-то сказать, а может быть, снова спросить, но я ее опережаю и говорю совсем тихо и спокойно:

— Я вовсе не святой дух. Напротив, я большой грешник. Поговорим с тобой завтра. А теперь пойди и ляг.

Она поднимается и, неловко улыбаясь, направляется туда, где лежит ее сын. Взобравшись рядом с ним на нары, сворачивается клубком, и вскоре я слышу ее глубокое дыхание, которое переходит затем в легкое похрапывание.

Когда я просыпаюсь какое-то время спустя, солнце стоит высоко над горизонтом. Очаг совсем догорел. Женщина и ее сын спят глубоким сном.

Осторожно поднимаюсь, сворачиваю спальный мешок и прикрепляю его к рюкзаку. Затем выхожу наружу, не будя истеричную Эмму.

Вскоре я уже стою на берегу реки и наблюдаю, как рыбаки, маневрируя сачком против течения, то и дело вынимают из воды серебристого сига, а иногда даже по две рыбы сразу. Ночь была удачной: один из них поймал сотни четыре рыб, другой вытащил большого лосося. Рыбаки устали, позевывают и с каждой новой рыбиной добавляют в нос понюшку табаку.

На месте праздника валяются бумажки, пустые бутылки и остатки жареной рыбы. Опустел «дележный домик», где в прежние времена после каждой смены делили улов. На домике есть колокольня, похожая на некую рыбацкую часовню.

Направляюсь к дороге, на автобус, который уходит на север. Долгая ночь у стремнины Куккола миновала.

Но как оказалось, эпилог еще впереди.

Как-то вечером в начале августа я сижу на берегу речки Лайниоэльв. Чуть выше по течению раза два плюхнулась отличная форель. Я снял с себя одежду, вошел по пояс в воду, но все равно не смог поймать форель на мормышку. Жаль, что я пришел сюда без спиннинга: блесну я бы смог добросить до этого места, и рыба, возможно, была бы моей.

Чуть ниже по течению, примерно в метре от первого пенистого завихрения в стремнине, мне удалось поймать несколько небольших рыбешек. Форель килограмма на полтора, хоро-

шую и плотную, я оставил себе на ужин, остальные побросал обратно в речку.

Хотя воды и было немного, течение на перекате настолько сильное, что всех рыб, которые клевали на крючок, затягивало вниз, в стремнину. Двух я потерял, остальные в мелкой бурной воде быстро выбивались из сил.

Отличный вечер, хотя изрядно докучают комары. Гул стремнины убаюкивает. Над водой взад и вперед носится водяной дрозд, до слуха сквозь шум водопада временами долетает его скрипучий свист.

Бочажина, что лежит чуть выше стремнины, мирно и спокойно поблескивает в лучах заходящего солнца, которое вот-вот скроется за лесными далями на западе. Посреди бочага весело плещется в воде выводок крохалей, а совсем недалеко от гуляющей форели два гоголя чертят на поверхности реки длинные, блестящие, серебряные клинья.

Начинает посасывать в желудке, и мысль о чашке горячего кофе все более настойчиво лезет мне в голову.

Что ж, надо, пожалуй, разжечь небольшой костер на каменистом берегу и поставить на него кофейник, потом нарезать охапку можжевельника, разделать форель и прокоптить ее на слабом огне.

Когда я собираю немного плавника, выброшенного на берег во время весеннего разлива и отлично просохшего за лето, на реке появляется лодка, медленно плывущая вниз по течению в направлении переката. Наверное, какой-нибудь рыбак.

Я прекращаю свои хлопоты и, усевшись на поваленную ветром сосну, наблюдаю за лодкой.

Крохали ныряют под воду, гоголи взмывают вверх.

На рыбаке кожаная куртка и кепка, которая ему явно велика, и он надвинул ее глубоко на уши, возможно, для того, чтобы спастись от комаров. Голова кажется какой-то неестественно большой.

Рыбак гребет спокойно и размеренно. Задолго до того места, где бурный поток устремляется вниз, к стремнине, он поворачивает лодку и гребет поперек реки. Теперь мне видно, что человек с большой головой держит зубами нечто такое, что тянется за лодкой, временами отражаясь в потоке слабого света.

Это, конечно, леса — рыбак ловит форель. Ему ведь известно, что здесь водятся большие, отличные форели, как раз в том месте, где заметно усиливается течение.

Гребец достигает другого берега реки, поворачивает и плывет обратно. Возможно, он спустится чуть-чуть пониже. Нос лодки немного приподнялся в направлении бочажины, видно, ее уже начинает подхватывать сильное течение.

Так он раза три-четыре пересекает реку туда и обратно, каждый раз спускаясь чуть ниже к стремнине. Сильное течение, видно, уже далеко отнесло блесну.

Да, рыбак знает свое дело. Он в этих местах не новичок, и кажется странным, что у него не клюет, ведь блесна его как раз в том месте, где только что играла форель.

Правда, погода для рыбалки не очень подходящая — безветрие и штиль, а круги от движения весел, расходясь по воде, быстро спускаются вниз по реке, только пугая рыбу.

В тот момент, когда лодка снова приближается к моему берегу и уже готова повернуть обратно, у него наконец-то клюнуло. Я вижу, как натягивается леса, слегка поднимаясь над водой и теряя блестящие капли. Человек привстает в лодке и, схватив лесу правой рукой, кладет весла и начинает вымучивать рыбу.

Он тянет ее прямо на себя и резко, даже слишком резко, метр за метром выбирает лесу. Но снасти у него, наверное, крепкие, к тому же он спешит поднять рыбу до того, как лодку отнесет настолько, что он уже не сможет поднять ее назад против сильного течения. И если он зазевается, то лодку вынесет в мелкую и каменистую стремнину, прибьет к какому-нибудь камню и, развернув поперек, тотчас же перевернет. А рыбак может просто утонуть, ведь в этих лесных местах совсем немногие умеют плавать.

Рыбак уже подтянул рыбу к самой лодке. Похоже, что форель отличная: она сильно извивается и кувыркается в воде, вздымая метровые брызги.

Ни палки с крючком, ни сачка у него, видимо, нет, но на правом бедре болтаются пустые ножны, и я замечаю, как поблескивает лезвие большого ножа.

Значит, он собирается прикончить форель ножом!

Рыбак становится на колено, опускает нож, прикидывая расстояние. Но рыба так извивается, что будет трудно нанести точный удар, а рыбак знает, что если он ошибется, то может потерять рыбу.

Лодка быстро приближается, подхваченная потоком, из которого ее нельзя ни вывести обратно, ни удержать на месте, но рыбак слишком поглощен своей борьбой с форелью и не замечает, что лодку несет все быстрее, не слышит, как грозно нарастает гул стремнины. Он не видит, как разворачивает лодку поперек реки, не чувствует, что при такой скорости лодку перевернет в тот самый миг, как она только налетит на камень. Будь это ниже по реке, поближе к глубокой стремнине, то, может быть, ее бы и не перевернуло, но здесь, на этой каменной мели, судьба не оставляет никакой надежды.

Я громко кричу, пытаясь предупредить рыбака, но он меня не слышит.

Мысль продолжает лихорадочно работать. Надо что-нибудь сделать, чтобы предотвратить катастрофу. Но что же именно? И как?

В том месте, где поток, обтекая первые камни в верхней

части стремнины, вздымает белые клочья пены, из воды выступает каменный ряд, напоминающий нечто вроде шхеры или небольшого мыса. Правда, часть камней вода захлестывает целиком, образуя в этом месте белопенные гребни, но все равно сюда можно подобраться с берега. Камни там не скользкие, я это знаю, поскольку в тот вечер уже ловил там форелей и обе пойманные рыбы протащил при помощи сачка в тихую заводь чуть ниже камней. Лодку пронесет потоком мимо крайнего из этих камней, и, если повезет, она пройдет так близко, что мне удастся ее зацепить.

Но смогу ли я удержать лодку? Не утащит ли она меня в стремнину?

И все же надо попытаться, ведь я умею плавать.

Я стремительно прыгаю с камня на камень и едва успеваю кое-как упереться правой ногой, как ко мне приближается лодка.

Рыбак только что пронзил форель ножом и поднял рыбу в лодку. Он осматривается кругом и, обнаружив опасность, так и оседает в лодке, видимо, со страха.

Пытаясь перекричать грохот стремнины, я ору что есть мочи:

— Ложись на дно!

Если он не ляжет на дно, его сразу выкинет из лодки, как только ее начнет раскачивать.

Он снова озирается по сторонам — кто это там орет! — и мигом понимает обстановку. Бросается на дно, крепко уцепившись за шпангоуты. В ту же секунду я хватаю лодку за форштевень, изо всех сил стараясь ее удержать. Такое ощущение, что кто-то пытается оторвать у меня руки, а в спину всадили нож. Я вспоминаю про радикулит, который меня так мучает.

Все идет точно по плану. Лодка быстро разворачивается на четверть оборота. Ее слегка захлестывает водой, и она содрогается, перекатываясь через подводный камень, но затем входит в тихую заводь. Опасность миновала.

Из лодки поднимается Эмма, та самая смятенная душа, что повстречалась мне у водопада Куккола.

Внешне все еще кажется, что она поглощена своей драматической рыбалкой и до сих пор не понимает, какой смертельной опасности только что избежала. Гордо улыбаясь, она поднимает вверх свою форель. Это очень красивая рыба примерно на четыре-пять килограммов. Нож все еще торчит в боку.

Судя по выражению лица, Эмма меня узнала, но мысль ее поглощена другим: она думает лишь о своей превосходной форели. Вытаскивает нож, без конца вертит рыбу в руках, счастливая своим уловом.

Положив наконец нож на дно лодки, Эмма осматривается, лицо ее становится бледным и серьезным. Только теперь она понимает, какой подвергалась опасности.

Я не слышу ее голоса, но вижу по губам, что она выкрикивает со страху: «Вой, вой!»

Потом смотрит на меня горящими глазами и говорит неторопливо:

— Да, это был святой дух!

Эмма неуверенно выбирается из лодки. Одета она как лесоруб — высокие финские сапоги, грубые мужские брюки, шерстяной свитер под курткой и большущая кепка, под которой она спрятала волосы.

Вместе с ней мы с трудом поднимаем лодку вверх по реке, мимо каменных шхер. Руки у меня ноют, спина разламывается пополам. Схватка с лодкой была тяжелой, слишком тяжелой.

Эмма не произносит ни слова. По сравнению с той ночью у водопада Куккола она кажется теперь бодрой и здоровой.

Когда я спрашиваю, часто ли она тут рыбачит, лицо ее светлеет и она тотчас отвечает:

— Да, только вместе с отцом. Сейчас он болен.

Забравшись снова в лодку, Эмма вычерпывает воду, затем аккуратно укладывает рыбу. Садясь на весла, она продолжает:

— Я обменяю рыбу на лекарства. Мне надо торопиться.

Пока она не отчалила, я прошу подождать минутку, бегу наверх и, принеся пойманную мною форель, кидаю ей в лодку и эту рыбу: лекарства сейчас дорогие.

Она не говорит мне «спасибо», но лицо ее тотчас озаряется той внутренней радостью, что и там, у водопада Куккола, когда она пристально глядела в угасающие угли очага.

Я сталкиваю лодку на воду. Ударив раза два веслом, она разворачивает лодку, на мгновение останавливается и говорит с грустной и, возможно, чуть двусмысленной улыбкой:

— Ты... ты все-таки, наверно, святой дух?

Не дожидаясь никакого ответа и весело рассмеявшись, она взмахивает веслами, и я вижу, как легкий румянец заливает ее щеки. Теперь это милая и совсем уж естественная женщина. Но опасные причуды ее останутся, видно, на всю жизнь.

Лодка исчезает за излучиной реки.





Длинная ночь Ниило

Когда Ниило просыпается под своей оленьей шкурой, ему в лицо ударяет холод. Бревенчатая стена покрылась инеем. Маленькое оконце замерзло. Так здесь бывает часто.

Он лежит немного и потягивается: так не хочется покидать теплое ложе. Думает о том, как распределить свой день.

На улице лютый мороз. После снегопада всегда бывает очень холодно. Да, сегодня далеко не пойдешь. Только бы проверить ловушки на куропаток у Пиккулампи. Часть ловушек надо бы переставить и снова зарядить после метели. На это уйдет часа два. Потом снять шкурки с двух белок и горностая, что несколько дней назад попались на приманку в дровяном сарае.

Но прежде всего он выпьет кофе.

Ниило соскакивает с нар, натягивает брюки и надевает ботинки. Потом разводит в очаге огонь, разбивает лед, который образовался за ночь в ведре с водой, и наполняет кофейник.

Смолистое дерево быстро разгорается, и в маленькой лачуге становится теплее. Кофейник закипает, и, не успел еще Ниило как следует одеться, как кофе уже готов. Он выпивает две

чашки, но ничего не ест. Часа через два он вернется обратно и сварит себе оленьего мяса.

Взяв дробовик, он мимоходом поглаживает шкуру росомахи, которая растянута для сушки. Это шкура самки, убитой три дня назад. Где-то поблизости ходит и самец. Интересно посмотреть, не бродил ли он в поисках куропаток в ивняке у Пиккулампи. А возможно, и в ловушках что-нибудь стащил, это случается нередко.

В прошлом году росомаха сожрала тушу молодого оленя, которого Ниило незадолго перед тем застрелил. Олень отстал от стада, заблудился и сильно отощал. Рано или поздно он все равно стал бы добычей росомахи или волка, и уж лучше прикончить его самому, запастись мясом до конца зимы. Но Олави, видно, будет не в восторге, если узнает, что произошло, ведь олень-то из его стада.

Лыжи неважно скользят на морозе, и путь до маленького озера занимает почти полчаса.

В первом капкане сидит куропатка. Ниило продолжает путь по кругу и обнаруживает еще куропаток. Кое-где он останавливается, чтобы поправить или переставить ловушку. Следов росомахи не видно.

В тот момент, когда Ниило сунул последнюю куропатку в рюкзак и взвалил его на спину, показалась росомаха; она бежала вприпрыжку по другую сторону озера. Издали казалось, что зверь, передвигаясь довольно быстро, буквально катится по свежему снегу, будто куда-то спешит.

Этот самец ослепительно черного цвета — один из самых красивых, каких Ниило доводилось когда-либо встречать.

Зверь движется наискосок, все время приближаясь к человеку. Ниило стоит неподвижно, и ему кажется, что где-то вдали, в том направлении, откуда пришел зверь, средь хилых сосен раздается какой-то звук. Ниило не знает, что это такое, да и глядеть ему туда недосуг. Наверно, сосны трещат на морозе.

Но вот росомаха почуяла человека. Она резко повернула в сторону, и дробь теперь уж ее не достанет.

Ниило быстро перезаряжает ружье, вставляет патрон с самой крупной дробью и что есть мочи припускается за зверем.

Охотник проклинает неудачу, постигшую его на той неделе. Застрелив одинокого молодого оленя, Ниило содрал с него шкуру, а большую часть мяса решил припрятать впрок. Он, конечно, видел, что на животном стояло клеймо Олави, другого саама, который зимой пас свое стадо поближе к побережью, километрах в двадцати отсюда.

Вернувшись через два дня к тому месту, где было спрятано оленье мясо, Ниило обнаружил, что там побывала росомаха и сожрала все его запасы. Но его это отнюдь не огорчило, скорее наоборот: ведь, если Олави найдет место, где был убит

олень, он поймет, что это дело росомахи. К тому же зверь наверняка придет сюда снова, ведь он возвращается в то место, где можно чем-то поживиться. И Ниило приладил у остатков туши самострел, какой обычно ставил на лося. Привязав ружье к двум елям, он ствол направил чуть-чуть повыше головы оленя, которую росомаха немного передвинула, но вопреки своим привычкам не затащила вверх на дерево. Затем прикрепил тонкую проволоку к спусковому крючку, зацепив другой ее конец за голову оленя. Как только зверь дотронется до этой головы, произойдет выстрел. Таким способом Ниило подстреливал росомах и раньше.

Но только теперь он понял, какую совершил ошибку. Надо было ставить дробовик. Ведь на таком близком расстоянии дробь была более чем эффективна, зато ружье было бы сейчас при нем, а значит, и самца он мог бы тотчас уложить. Ниило был хороший стрелок.

Что ж, предстоит нелегкая охота, наверняка одна из самых трудных «гонок», в какие он когда-либо пускался. Вообще-то преследовать росомаху — дело почти безнадежное, если только охотник с самого начала не находится на близком расстоянии от зверя. И если хорошенько поднажать, да еще немного повезет, то, возможно, удастся загнать росомаху на дерево. Тогда уж зверю каюк, пусть даже у Ниило при себе один только дробовик. Но чтобы загнать росомаху на дерево, надо сперва подойти к ней довольно близко, и Ниило вкладывает в бег все свои силы.

Минут через пятнадцать он сбрасывает с себя рюкзак: мороженые куропатки не столь уж ценная провизия. Сразу становится легче идти. Время от времени он видит впереди росомаху. Надо во что бы то ни стало загнать ее на дерево, ведь в этом лесу через двадцать — тридцать километров, ближе к горам, местность вся покрыта большими валунами, и продвигаться станет труднее. Зверю легче будет скрыться, да и деревья там низкорослы, так что искать на них убежища он вряд ли пожелает. К тому же в тех местах много старых берлог.

Ниило насквозь промок от пота, и через полчаса он сбрасывает с себя толстый шерстяной свитер. Бежать становится полегче, но на спусках ледяной ветер насквозь продувает мокрую рубашку. Но ничего, просохнет. Так было и в последний раз.

Ах да, в последний раз! Когда он гнался за самкой росомахи! Пришлось хорошенько попотеть, и все же было много легче. Правда, зверь нередко отрывался от погони, особенно в лесу, но самка бежала не так быстро, как эта росомаха, и Ниило вскоре ее измотал.

Охота началась тогда не совсем обычно. Ниило отправился проверить ловушки и неожиданно столкнулся с Марко, ближайшим соседом, который жил в нескольких километрах к во-

стоку. У Марко тоже небольшая хижина, как и у Ниило, он холост и живет один.

Есть у Марко несколько оленей. Три из них, по его словам, он купил, а остальных украл у саамов-оленеводов. Когда охота не ладится, Ниило иногда приходится убивать оленей, одиночных животных, отставших от стада. Их все равно загрызли бы волк или росомаха. Но красть живых оленей, чтобы таким путем увеличить свое стадо, разве это честно? Ведь это воровство?!

Марко обнаружил пропажу двух оленей и очень боялся, что их загрызет росомаха, он уже видел ее следы. И попросил Ниило пойти вместе с ним, возможно, им удастся обложить зверя и пристрелить его.

Нельзя сказать, чтобы Ниило питал к Марко особую симпатию, но он знал, что, если пойти на норвежскую территорию и там продать шкуру, можно неплохо заработать, получив вознаграждение за зверя и хорошую цену за шкуру. И он отправился вместе с Марко.

Не успели они отойти далеко, как обнаружили следы росомахи. То были совсем свежие следы. Ведь, если росомаха вышла из укрытия средь бела дня, значит, ее гонит голод.

Ниило тотчас поспешил по следу. При невысоком росте и малом весе он быстро скользил по насту. Марко был тяжелее, лыжи его часто проваливались, и вскоре он остался далеко позади.

Ниило гнал что было мочи, он уже сбросил рюкзак и снял свитер. Через десяток километров он догнал росомаху и в отдельные моменты отчетливо видел зверя. Расстояние между ними все время сокращалось.

Раза два зверь останавливался и озирался вокруг. Вставал на задние лапы, как это обычно делают медведи: подобно медведю, росомаха плохо видит. Но прежде чем Ниило успевал вскинуть ружье, росомаха уже пускалась в бегство и скрывалась в гуще деревьев.

Наконец через несколько часов погони они вышли на большое болото. Зверь попытался скрыться, но лес был редким, и Ниило было хорошо видно росомаху. Свернув со следа, охотник пошел наперерез зверю.

Росомаха вскарабкалась на старую кривую сосну и плотно прижалась к толстой ветке. Оставалось лишь прицелиться, и светло-коричневая самка камнем свалилась на землю.

На месте же Ниило содрал со зверя шкуру, запихнул ее за пояс и отправился в обратный путь. Но чтобы найти рюкзак и свитер пришлось идти по старому следу, вот тут-то и повстречался ему Марко.

Марко поинтересовался, как прошла погоня, и Ниило сказал ему всю правду.

— Значит, поделим премию и выручку за шкуру,— заметил Марко.

— Ну нет уж, ты никогда бы эту росомаху не догнал,— ответил Ниило и помчался прочь, вздымая вихри снега. Уже смеркалось. За спиной послышался голос Марко:

— За эту шкуру ты мне дорого заплатишь!

Марко всегда отличался длинным языком, с тех пор как восемь — десять лет тому назад он пришел в эти леса. Так что и на эту угрозу вряд ли стоило обращать внимание.

Но с другой стороны, не желательно враждовать с человеком, который по охоте, рыбалке и сбору ягод является твоим ближайшим соседом. Да и как узнать, что за человек этот Марко, в душу ведь не влезешь. А если он завистливый и мстительный?

Час за часом бежит время. На болотистых участках расстояние между охотником и росомахой сокращается, и Ниило отчетливо видит черного как смоль, с блестящим мехом зверя. Раза два он мог бы хорошо прицелиться в самца, будь у него ружье.

На открытых болотистых участках Ниило встречает резкий, жгучий холод, он обжигает руки и грудь, и такое чувство, будто его сейчас парализует. Но это оттого, что он бежит слишком быстро и сильный ветер пронизывает одежду и перехватывает дыхание.

К тому же Ниило испытывает жажду и голод, рот и горло пересохли, посасывает в желудке. Прежде чем пускаться в погоню за росомахой, надо было как следует подкрепиться вареным оленьим мясом, а не только двумя чашками кофе.

Черт побери, никак не загнать хитрого зверя на дерево! Хотя порой он и догоняет зверя, и видно, как качаются задетые им ветки, и можно даже заметить черный зад росомахи с толстым коротким хвостом, исчезающий за белыми пушистыми елями, но прицелиться и выстрелить не удается.

Ниило совсем выдохся, перед глазами черные круги. Если бы загнать этого зверя на дерево, у него было бы две шкуры. Дня через два ему надо в поселок, чтобы продать куропаток; их набралось уже множество, вот он и сходил бы заодно на ту сторону границы и попросил своего родича, тоже охотника, получить вознаграждение. Там, в Норвегии, за росомах дают большие премии. За услугу родственник получит одну из шкур, и это будет выгодно для обоих. В худшем случае Ниило отдаст ему обе шкуры. Главное ведь премия, она гораздо выше стоимости шкур.

Солнце уже зашло, и тени вокруг деревьев и кустов стали синими. Спустя час нельзя уже будет стрелять. День пропадет напрасно, и впереди предостоит лишь долгая неуютная ночь.

Ну и чертовщина!

В груди у него все горит и стучит в голове. Большие черные пятна все чаще танцуют перед глазами. Внезапно он врезается в ель, и с ног до головы его обсыпает снегом. Потом налетает на камень, едва устояв на ногах.

Тени становятся темнее, видимость ухудшается.

Но вот впереди качнулась ветка, и Ниило различает что-то черное. Зверь совсем близко. Может, он тоже начинает уставать.

Ниило думает: «А не крикнуть ли? Что есть мочи. Может, зверь испугается и полезет на дерево?»

Пожалуй, так и надо сделать.

Он пытается крикнуть, но голос отказывается повиноваться, и раздается лишь хриплое бульканье: горло совсем пересохло, да и холодный ветер обжег голосовые связки.

Ниило опять налетает на камень и едва не ломает лыжи. Этого только не хватало за несколько десятков километров от дома! Удивительно, как быстро наступают сумерки!

Он поднимает голову вверх. Стволы и ветви, лишенные снега, на фоне неба кажутся черными. Где-то высоко появляются первые звезды, значит, стрелять уже поздно: мушку не разглядеть, и выстрел пройдет поверху.

Неожиданно правая лыжа застревает под стволом маленькой березки, которая низко склонилась к земле и верхушка которой вмерзла в наст. Ниило не замечает дуги, торчащей над снегом, и кубарем летит в снег.

Медленно поднявшись, он снимает лыжи и отряхивается. Пытается очистить ствол дробовика, но тот слишком глубоко ушел под наст и плотно забит снегом.

Усталый и растерянный, он озирается вокруг. Следы росомахи еще различимы среди глубоких теней, но прицелиться и выстрелить уже невозможно. Он медленно закидывает за спину дробовик, не предпринимая больше попыток очистить его от снега. С трудом поворачивает лыжи и отправляется в долгий и унылый путь домой.

Сумерки переходят в темень, но она все же не так уж черна и непроглядна. Стоит обычная безлунная осенняя ночь; снег дает белый отблеск, а на небе сверкают тысячи звезд. Отчетливо выделяется и ясно просматривается лыжный след впереди. В густом лесу надо передвигаться осторожно, хорошо еще, что эти чащобы попадаются нечасто. Деревья тут низкорослы, с раскидистыми кронами.

Время от времени Ниило сбавляет бег, но при этом снижается теплоотдача тела, рубашка смерзается, и при каждом движении, как палкой, натирает руку и шею. Сейчас бы в самый раз плотный и толстый свитер, но до него еще так далеко. Быть может, рубашка все же просохнет...

Теперь, когда Ниило оставил погоню, а с ней и светлую надежду на крупную добычу, его охватывает страшная уста-

лость. Ноги дрожат, руки слабеют. В желудке сосет и ноет от голода, обжигает жажда, хотя стоит такой мороз. Малюсенький глоток кофе мог бы сотворить чудо.

Какая сладкая мечта — свежий кофе и ломтики сушеного мяса у большого и яркого костра! И теплый шерстяной свитер!

Нет, нет, об этом нечего и думать, пока еще не время. Позднее будет и кофе, и котелок с оленьим мясом. И жаркий огонь в печурке, чудесный домашний очаг.

Жаль, конечно, что зверь ушел. Ниило так его загнал, что теперь он не скоро осмелится вернуться обратно. Было, наверное, глупо начинать охоту в такой поздний час. Лучше бы оставить росомаху в покое. Возможно, зверь польстился бы на убитого оленя и сам налетел на самострел.

Так бы и вышло. Ну а, впрочем, самку ему тогда удалось загнать быстро и легко. То была удачная охота. Правда, тогда и погода была получше, ведь охотиться на росомаху не так-то просто: она и крепче и выносливее волка. Пожалуй, охота на нее даже труднее, чем на любого зверя.

Если бы он не видел так близко и отчетливо эту росомаху и не надеялся загнать ее на дерево! А то ведь он много раз был у цели, но эти старые самцы так коварны и хитры, что только в крайнем случае взбираются на дерево, будто знают, что находиться там опаснее.

Этот зверь, похоже, был стар, один из тех, у которых на лбу и на затылке появляется редкий белый волос. За такие шкуры платят хорошо.

Удивительно, как отяжелели ноги. Будто куски свинца. И как трудно стало двигать палками.

Он и вправду совсем измотан. Хорошо бы остановиться и немного отдохнуть. Но это опасно. Того и гляди заснешь, да затекут руки и ноги так, что не сможешь двинуться с места. Впрочем, все равно огонь не развести: коробок со спичками в заднем кармане насквозь отсырел от пота, и сера отошла от палочек.

Нет, надо, стиснув зубы, продолжать свой путь. Ближе к дому дорога будет легче: местность более ровная, не такая пересеченная, как здесь, да и валунов поменьше!

Ниило чувствует, как его начинает качать из стороны в сторону. Раньше это случалось редко — раза два, когда он болел и у него был настоящий жар. Он всерьез обеспокоен, ведь это признак полного изнеможения, а до дома еще так далеко!

Черт побери, если б только там, у Пиккулампи, у него было ружье! Он тогда стоял так тихо и спокойно, мышцы и легкие были ему полностью подвластны. Первая же пуля наверняка попала бы в цель. И совсем другое дело, когда подходишь к зверю на расстояние выстрела после многодневной погони и бываешь настолько измучен, а сердце и легкие так напряжены, что ноги, руки и даже все тело дрожат. Стрелять прихо-

дится стоя, второпях, без всякого упора. Но и при этом тоже попадаешь в цель.

Если бы он выстрелил тогда у Пиккулампи, наверняка попал бы в зверя, хотя росомаха и неслась во весь опор.

Да, но почему же зверь бежал так быстро? Обычно росомаха не очень тороплива. Только подкравшись к оленю и совершая последний бросок, она мчится стремительно. Но это лишь короткий отрезок пути. А там, у Пиккулампи, зверь вовсе не бежал по следу. Похоже, скорее наоборот...

Ну конечно же, теперь ему все ясно. За росомахой гнались, она была напугана, потому и неслась так быстро. Как это ему раньше не пришло в голову.

За росомахой гнался, напугав ее, Марко. В этих лесах только Ниило да Марко охотятся на росомах. И если бы у него было ружье и он уложил зверя, то шкуру и премию пришлось бы делить пополам, от этого ему не уйти.

Проклятый Марко! Значит, это он спугнул росомаху прочь от мертвого оленя и заряженного ружья. Зверь наверняка подбирался к мясу, когда Марко вышел на его след. Вот неудача! Надо ж паршивому Марко появиться в этих местах!

Ниило раздражен и проклинает свою судьбу. Злость придает ему силы. Пугающая неуверенность, неприятное головокружение проходят, в ногах и руках появляются новые силы, и еще с десяток километров он движется с хорошей скоростью.

Но по мере того как злость утихает, а мысль по-прежнему вертится вокруг той же темы, и голова снова тяжелеет, и, воспаляя мозг, его опять охватывает слабость, парализуя мускулы и волю. Он уже больше не слышит, как трещат на морозе деревья и лыжи монотонно скребут обледенелую лыжню. Ноющая боль во всем теле утихает, его словно окутывает плотный туман, и этот мрак все более сгущается, становясь в конце концов непроглядно черным. Какая-то неодолимая сила с бешеной скоростью тянет его в черную бездну...

Ниило просыпается от резкого удара, от обжигающей боли в левой руке. Привстав на колено, он озирается вокруг.

Ну конечно, он заснул прямо на лыжне и налетел на ель, ударившись головой о ствол. Острая сухая ветка оставила глубокую рану на левой щеке. Из нее течет кровь.

Ну ничего, борода густая и длинная, она придержит кровь. Да и без того кровь скоро остановится, ее просто схватит морозом.

Но как он мог заснуть прямо на лыжах! Такого с ним раньше не случалось.

Его охватывает страх, и сна как не бывало. Поднявшись на ноги, продолжает путь. Возможно, осталось уже немного километров до дома, до теплого очага, горячего кофе, вареного оленьего мяса.

Проклятье, как это он мог заснуть! Упади он прямо в мягкий снег, то, возможно, и не проснулся бы. И тогда он замерз бы насмерть и росомаха совершила бы свою кровавую расправу.

Нет, нет, только не она. Месть осуществил бы Марко. За шкуру той самки. Ведь он угрожал.

Проклятый Марко!

И снова лихорадочно работает мысль, перенося его во времени назад. Кто же стащил сети в устье Мустаерви полтора года назад? Ведь только он, Ниило, да Марко знают об отличном нерестилище в устье реки. Когда сеть исчезла, в ней наверняка находилась не одна крупная форель.

А кто вынул лисицу из его капкана года три назад? В ту зиму, в декабре, снег стаял за одну неделю, и, когда снова ударил мороз, Ниило, обнаружив близ убитого оленя лису, сразу же поставил капкан с приманкой из оленьего мяса.

Когда через два дня он пришел проверить капкан, тот был раскрыт, а на скобах виднелись клочья смерзшегося лисьего меха. И никаких следов вокруг — ни крови, ни костей или других остатков зверя. Если бы тут побывала росомаха, она бы отгрызла лисью голову и затащила ее на дерево где-нибудь поблизости. Так она обычно поступает. Но как Ниило ни искал, лисьей головы он не нашел.

К тому же росомаха лисье мясо не ест, по крайней мере до тех пор, пока можно достать другую пищу.

Немного погодя он встретил Марко на базаре, и тот рассказал, что один из его оленей исчез при довольно странных обстоятельствах. А Ниило упомянул про лису, бесследно пропавшую из капкана.

— Значит, у нас в лесу снова завелась росомаха,— заметил Марко и тут же перевел разговор на другую тему.

Вскоре после встречи Ниило зашел к скупщику меха, старому знакомому, и увидел у него необычайно красивую лисью шкуру, целую и неповрежденную, без видимых следов от пули.

Ниило спросил, откуда у него такая шкура.

— А, я только что купил ее у Марко,— ответил хозяин.

Проклятый Марко!

И у него возникло неодолимое желание наброситься на Марко, налететь на него сзади, вонзить в спину пукко прямо под лопатку. Тогда ему больше не придется встречать этого воришку в лесу.

Нож съехал по ремню и теперь болтался сзади. Ниило поправил нож и сжал рукоятку, торчавшую из ножен.

Кровь ударила в голову, тело покрылось испариной. Десны были сухие, кожу на них стянуло. А пальцы все сильнее сжимали рукоятку ножа.

Но у него ведь нет доказательств. И сам он на всю жизнь угодит в тюрьму. Нет, лучше уж остаться в своей лачуге, не-

смотря на такое соседство. Он оставил нож в покое, купил необходимой провизии и прямиком отправился домой.

Осенью того же года, как только выпал снег, Марко снова потерял оленя. Одного из лучших в стаде. И пропал олень совсем таинственно.

Проходит еще час, и мысли Ниило снова возвращаются к той же теме. Ему становится страшно. Он трясет и мотает головой, пытается отвлечься, напрягается, чтобы думать четко и ясно. Вспоминает о доме, о кофе, об оленьем мясе.

Замечает на лыжне что-то большое и темное. Одна из лыж наезжает на этот предмет.

Что это может быть?

Мысль проясняется, зрение становится отчетливее. Ну конечно, это же свитер. Его собственный свитер, который он сбросил вскоре после того, как начал погоню за зверем.

Ниило нагибается и поднимает свитер. Почти как камень, но все же с трудом можно натянуть через голову. Замерзшая рубашка прижимается к телу, и становится еще холоднее. Ниило совсем окоченел, но знает, что вскоре ему будет теплее.

Чтобы немного согреться, Ниило собирается с силами для короткого, но быстрого рывка. И действительно, леденящая скованность тела мало-помалу проходит, мысль начинает работать. До дома теперь уж не так далеко.

Туман, густой мрак постепенно рассеивается.

О, кофе и оленье мясо!

Теперь, видно, недалеко то место, где он оставил рюкзак.

Так оно и есть, вскоре рюкзак лежит на лыжне прямо у него под ногами. Странно, неужели это место было так близко? Или он спал на ходу? Может, он на ходу спит с открытыми глазами? Просыпаясь, только когда раскрытые глаза автоматически регистрируют какой-то знакомый предмет?

Определить это не так просто.

До чего же тяжелый рюкзак! Нечеловечески тяжелый. Таким он никогда не был раньше. Ему едва удается его поднять.

Нет, пусть уж лучше полежит тут. До следующего дня. Он поест и поспит, а потом сходит за рюкзаком. Здесь его никто не тронет. Росомаха ушла, а все лисы подстрелены или пойманы в капкан.

А вот и Риккулампи, он узнает его, хотя уже стемнело. Замечает лыжный след, который идет по следу росомахи с востока. Когда он начал погоню за зверем, этого следа не было. Тут, видно, прошел на лыжах Марко. Но ведь след проложен по лыжне Ниило в направлении силков на куропаток.

Поганый Марко! Этот дьявол пошел по его следу в сторону домика. Дверь не заперта, она всегда открыта тут, в лесу, для

тех людей, которым может понадобиться кров. Никто ведь никогда и пальцем ничего не тронет.

Но Марко — вор, это он, видать, стащил ту шкуру росомахи!

Теперь ясно: Марко обнаружил лыжный след, возможно, он даже видел, как Ниило начал преследовать зверя. В сосняке на болоте он, наверно, кое-что услышал. Например, стук лыжных палок по стволам деревьев, а может, и звук голоса. Когда Ниило не стал его ждать, Марко понял, что у него нет шансов первым догнать росомаху. Отказавшись от погони, он пошел по следу к домику Ниило, где висела шкура той самой самки. Ведь Марко был уверен, что раньше ночи Ниило домой не возвратится, а может и только к утру.

Ну и дьявол!

Ниило чувствует прилив новых сил. К тому же он идет теперь по хорошо утоптанной лыжне.

Короткий отрезок от Риккулампи до дома пролетает быстро. И снова ему кажется, что часть пути куда-то провалилась, как будто время и пространство образуют какие-то лакуны.

В восточной части неба возникает розовый отблеск. Это занимается рассвет.

Да, но где же его дом? На том месте, где он должен стоять, лежит сейчас большая груда пепла. Она еще немного тлеет, и кверху поднимается тонкая струйка дыма!

Ниило в нерешительности подъезжает ближе. Что это — явь или видение? Неужто он так обалдел от голода и мороза? И все это только сон?

Нет, это не сон. Хижины больше нет. Исчезла шкура росомахи вместе с кофейником и запасом оленьего мяса. И теплый уютный очаг, и мягкая шкура на нарах. Вся его жизнь, все существование полетели прахом.

Словно в дурмане, он идет к дровяному сараю, распахивает скрипучую дверь и заглядывает внутрь.

Висевшие там куропатки тоже исчезли.

Марко... Марко...

Ниило опускается на пороге сарая, тяжело опираясь о дверной косяк. Не отрывая глаз, неподвижно и безразлично смотрит он на кучу пепла. Скоро сутки, как он не снимал лыжи, почти ни минуты не передохнув.

Но теперь-то он отдохнет. Тело совсем расслабилось, и отдых приносит покой. Ему чудится, будто он раскрывает дверь хижины, разводит огонь и вскоре сидит у горячего очага. Смолистый запах дров и тепло ударяют в голову, действуя расслабляюще. Он ест большие куски вареной оленины, заедая сухим хлебом, и пьет свежий и ароматный кофе. Иногда он кидает взгляд на шкуру росомахи. Трескучий огонь отбрасывает желтые блики. Ему теперь хорошо, и мысли снова возвращаются к сегодняшней удачной охоте. Незадолго до сумерек он видит,

как самец-росомаха так быстро взбирается на кряжистую сосну, что от ствола отлетают большие куски коры. Быстрым движением он снимает со спины ружье, прицеливается зверю в плечевую часть и нажимает на спуск.

Какое-то мгновение зверь лежит на толстой ветви, но вот хватка ослабевает, он скользит вниз и с силой плюхается оземь, вздымая вихри снега.

Ниило бросается вперед, вцепляется в загривок росомахи в том месте, где виден длинный белый волос, с трудом поднимает с земли черного, как смоль, самца. Более красивого зверя ему никогда еще не доводилось видеть.

Глаза охотника светятся гордостью, на плотно сжатых губах играет счастливая улыбка.

Итак, росомаха все равно досталась ему...

После двух сильных оттепелей снег значительно осел, а на незащищенных склонах солнце обнажило пни и камни.

Олави готовится к весеннему переходу и собирает оленье стадо. Часть животных, возможно напуганных росомахой, ушли куда-то далеко от стада.

Собака Раппо бежит впереди. Наст твердый, и Раппо носится вокруг как ураган.

Как-то утром, пересекая болото недалеко от домика Ниило, он слышит, как где-то в лесу Раппо поднимает сильный лай. Наверно, он лает на Ниило, решает Олави и кличет пса, но тот не возвращается.

Олави направляется к домику, чтобы прогнать собаку.

Но домика больше нет, на его месте груда пепла.

Раппо стоит и лает у дровяного сарая, скрытого в густой тени. Голос у пса протяжный и жалобный. Олави охвачен любопытством и подходит ближе.

В дверях сарая, облокотившись о косяк, сидит Ниило. Замерзшее тело его слегка осело, быть может, из-за оттепели, глаза широко раскрыты и потрескались. Но в уголках рта застыла счастливая улыбка.

Олави отпрянул назад, поманил собаку и пошел дальше на восток, искать своих животных. Влипать в такую историю ему вовсе неохота. Это дело полиции.

Но до чего же странная улыбка у Ниило! Никто ведь никогда его не видел улыбающимся. По крайней мере прежде, когда он был живым! Что же, возможно, ему в жизни не всегда бывало сладко...

Через несколько километров пес снова поднимает лай.

Наконец-то, думает Олави, Раппо обнаружил оленя. И он быстро устремляется вслед за собакой.

Так оно и есть, там в самом деле видно оленя. Но на оленьей туше лицом вниз лежит человек.

Олави подъезжает вплотную и нагибается.

Это же Марко! Мертвый Марко!

На спине у него рюкзак, он лопнул, возможно, его разорвали звери. В рюкзаке и вокруг него видны белые куропатки. На снегу раскидан белый пух.

Сверху из рюкзака торчит шкура росомахи. Совсем светлая шкура, вероятно самка.

Олави озирается вокруг.

Ну конечно, вот там укреплено ружье — самострел, и от спускового крючка к голове оленя тянется тонкая латунная проволока, точно такая, какие используют в силках на куропаток.

Да, Марко нарвался тут на самострел, который Ниило приготовил для росомахи, и получил пулю прямо в грудь.

Вот как бывает в жизни!

Раппо носится вокруг и громко лает. Он возбужден, и временами лай напоминает вой. Да это и не мудрено — найти в лесу два трупа в один и тот же день!

Олави шикает на собаку и гонит ее прочь. А потом уходит сам. Ведь это тоже для полиции. Да, теперь хватит дела и полиции, и старому ленсману.

Все это странно и загадочно. Почему Марко очутился в охотничьем угодье Ниило с рюкзаком, набитым куропатками? Да еще шкура росомахи. Вроде бы совсем сухая.

Ну а то, что Марко из любопытства подошел к мертвому оленю, понять нетрудно. Хотел, видно, проверить, не из его ли стада олень.

А ну-ка, погоди! Олави что-то соображает. Он возвращается и начинает ковырять палкой, пока не раскапывает в снегу оленье ухо.

Конечно, там стоит его, Олави, клеймо. И он бормочет себе под нос, отходя назад и поворачивая лыжи:

— Ну что ж, конец обоим по заслугам. Гнались, видать, за росомахой, да сами-то похуже зверя.







Встреча на мосту Ивало

Стоит тихая и теплая июльская ночь. Я медленно иду по мосту Ивало. Незаходящее полярное солнце раскаленным шаром висит над тысячами островов и шхер озера Инари, черной и густой стеной стоит лес, хранитель древних преданий и удивительных судеб Лапландии. Ясные и тихие воды могучей, почти прямой реки Ивалойоки достигают плоской тундры у побережья Северного Ледовитого океана. Вдали, где река делает изгиб, чтобы исчезнуть совсем, ее зеркальную гладь режет чья-то моторка. Длинные темные волны расходятся изящной дугой, напоминая густые бороздки в муаровой коже финвала.

У самого предмостья, на западном берегу реки, раскинулась старая саамская церквушка — серая, покорная и немного печальная, она стоит, храня память об эпохе былого величия. А немного подальше окна гостиницы отражают лучи горящего солнца. Яркий свет заставляет вас вздрогнуть, и кажется, что все внутри здания — сплошная раскаленная масса.

Двое любопытных туристов выходят на мост на той стороне реки, машина с норвежским номером медленно и неуверенно катится к центру поселка. Где-то хлопает дверь, раза два тявкает собака. На берегу против меня молодой рыбак не уставая забрасывает спиннинг.

Стоит одна из тех томительных лапландских ночей, когда в палатке или номере гостиницы почти невозможно найти покой, когда лезут в голову удивительные мысли, а гармоничное слияние с красивой и одиноко-грустной природой тундры кажется нерасторжимым. И ты чувствуешь вдруг неприязнь ко всем этим туристам в нейлоновых одеждах, к их сверкающим лимузинам, а в каждый орущий транзистор так и хочется направить пулю. В такую ночь человека как-то особенно влечет побыть наедине с самим собой, проникнуть в тайники собственного сердца, и даже тихий посторонний шепот может нарушить желанное уединение.

Неожиданно появляется неторопливый путник, и кажется, что он возник прямо из темной стены невысокой саамской церквушки. На нем поношенная саамская кофта, темно-коричневые сапоги и шляпа, неряшливо натянутая набекрень. На спине болтается ранец из старенькой кожи того же цвета, что и сапоги. На обросшем лице его светятся узкие светло-карие глаза, блестящие, точно вода, и совсем невыразительные, но все же в глубине своей отмеченные печатью грустной меланхолии. Путник идет почти посередине дороги, он словно не видит узкого, чуть выступающего тротуара либо просто не знает, для чего он предназначен.

Печальный взгляд, старомодная одежда, мягкий, неуверенный шаг — все это кажется каким-то знакомым. И особенно крупный нос, чуть отклоненный влево, как после сильного удара кулаком.

Я лихорадочно копаюсь в памяти, перед глазами встают рыбаки, охотники, старатели — длинная вереница жителей здешней лесной глуши.

В тот момент, когда человек проходит мимо меня, устремив куда-то вдаль взгляд блестящих глаз, он вдруг резким движением поднимает левую руку к носу.

Ну конечно, это же Хейкки! Старатель и отшельник из отдаленной глухомани Северной Финляндии, мой старый и добрый друг!

Я машинально выкрикиваю его имя, он вдруг оборачивается быстро, как зверек. Взгляд робок и насторожен, он словно принимает оборонительную позу.

Глаза наши встречаются, и на лбу у Хейкки возникают две глубокие морщины. Но вот лицо расплывается в любезную и добрую улыбку, он приветствует меня кивком головы и странными гортанными звуками, посылая мне прямо в нос резкий запах винного перегара:

— Пейвяя! Пейвяя, старый друг! Вой, вой, это и вправду ты? Я не видел тебя много, много лет!

Хейкки прав. Мы действительно давно с ним не встречались. Наверное, года три-четыре, а может, и больше прошло с тех пор, как мы жили бок о бок в лагере старателей на речке

Лемменйоки у самой границы леса. Мы делили с ним нары на открытом чердаке большого бревенчатого дома, и именно там мы подружились. По вечерам, перед тем как заснуть, мы лежали и болтали про всякие дела, пытались даже загадать, что нас ждет впереди.

В один из таких вечеров Хейкки рассказал немного о себе. Мать его была дочерью богатого оленевода, но вышла замуж за бедного финского охотника. Жили они в маленьком домике на северо-западном берегу Инари. Оленей, которых мать получила в приданое, хватило совсем ненадолго, точно так же ушло и серебро, полученное ею к свадьбе. Когда в домике уже не оставалось ничего ценного, муж ее тоже исчез. Хейкки едва помнил его и не знал, жив отец или нет.

Для Хейкки и его матери наступили трудные времена. Правда, саамы помогали им, но мать была слишком горда, чтобы просить о помощи. Ее отец, да и вся семья противились тому, чтобы она выходила замуж за охотника. Но она ведь была влюблена и верила, что все будет хорошо. А позднее не хотела унижаться, признавать, что сделала ошибку.

Как-то весной, когда Хейкки было пятнадцать лет, мать провалилась сквозь лед на реке, ее так и не нашли. С того дня Хейкки сам добывал пропитание охотой и рыбалкой, работал у старателей и на лесозаготовках. Целые недели, а то и месяцы он жил один в глуши бескрайних лесов, но дома собственного так и не обрел.

На Лемменйоки он бывал летом, оставаясь там не больше недели. У него был небольшой старательский участок, но золота на нем почти не осталось, и Хейкки редко там задерживался.

Мы мало виделись в лагере старателей, а если и встречались, то Хейкки молчал, и я не мог из него выжать ни слова. Он был занят своим трудным делом, не жаловался на тяжкую судьбу, пусть даже много дней подряд и работал впустую, не находя ни грамма золота. С другими старателями он никогда ни о чем не разговаривал, по крайней мере я ни разу этого не видел. Казалось, он их не замечает, зато на Сиркку изредка посматривал.

Сиркка работала в лагере поварихой. Была она маленькой и круглой и на редкость некрасивой, а когда смеялась, то както странно выворачивала верхнюю губу. Возможно, у нее была заячья губа, а может, и другой дефект. Язык ее к тому же был настолько толстым, что ей, наверное, трудно было разговаривать и есть. Видимо, по этой причине она так мало говорила. Сиркка старалась не смеяться и не есть в присутствии других.

Слух ее, судя по всему, тоже был не особенно развит. Она никак не реагировала на все те сальные истории и крепкие словечки, которыми пересыпали речь старатели. Казалось, она их не слышит. Но если чего не хватало на столе, будь то соль

или сахар, или кто-то просил добавки, то Сиркка мигом была на месте и тотчас приносила необходимое.

Она была прекрасной поварихой. А если оставалось время, то Сиркка делала и то, на что вовсе не нанималась,— штопала носки, чинила драную одежду, стирала рубашки и нижнее белье. Брать плату за эти дополнительные услуги она решительно отказывалась, и тогда старатели придумали откладывать за это деньги в картонную коробку, которая стояла на окне. И если Сиркка нуждалась в чем-то по хозяйству, как, например, в какой-нибудь посуде, то деньги на покупку она брала в картонке. В других же случаях картонку не трогала.

Как это ни странно, но об одежде Хейкки она никогда не заботилась, хотя его одежда особенно нуждалась и в стирке и в починке. Ведь Хейкки был среди старателей одним из немногих холостяков, родных у него не было, и никто им не интересовался. К тому же в вопросах личной гигиены он был неповоротлив и беспомощен, ходил всегда в рваной и нестираной одежде, и я никогда не видел, чтобы Хейкки мылся. Особенно я хорошо это чувствовал, когда мне приходилось делить с ним общую постель.

Единственное, что было у Сиркки красивым, так это ее глаза — большущие, голубые, чуть выступавшие вперед. Глаза эти видели и примечали все. И были кристально честны.

Случалось, что взгляд ее падал на Хейкки, и тогда эти глаза излучали тепло. Раза два я случайно замечал, как встречались взгляды Сиркки и Хейкки. Оба смущались, опускали глаза, тотчас же стараясь чем-нибудь заняться. Однажды Хейкки встал из-за стола, даже не закончив еду, в другой раз Сиркка стала быстро добавлять воды в лохань с посудой, хотя вода и так почти переливала через край.

Беседуя по вечерам на чердаке, мы с Хейкки никогда не говорили о Сиркке, это имя у нас было табу. И у меня такое чувство, что именно поэтому мне удалось сойтись поближе с Хейкки, обычно таким неразговорчивым и сдержанным.

В тот вечер, когда мы в последний раз ночевали вместе, Хейкки был явно неспокоен. Мысль его перескакивала с одного на другое, он все время менял тему беседы, а сам так вертелся на нарах, что доски скрипели под оленьей шкурой.

Он явно хотел поговорить о чем-то для него весьма важном, но выразить мысль свою никак не мог. Возможно, дело касалось Сиркки. А может, нашел крупный золотой самородок. Ведь каждый старатель мечтает о том, что после стольких лет лишений и труда он найдет настоящий самородок и сразу станет независим и богат. Но если кто и сделает такую находку, то держит ее как можно дольше в секрете, опасаясь, что золото украдут или отнимут. Никто даже не знает, как много старателей в Северной Финляндии хранит в наши дни большие находки, тщательно спрятав в надежных, недоступных местах

свои бутылки, до краев наполненные золотым порошком, не смея ни с кем поделиться своей тайной.

Хейкки много говорил в тот вечер о домике, который ему хочется построить где-нибудь в лесной глуши. Но я в эти планы не очень-то верил: для того чтобы построить дом за много километров от дороги, нужны и деньги и энергия. Ни того ни другого Хейкки не имел.

Проговорив часа два, он наконец замолчал. Я же продолжил беседу, стараясь как-то свести ее к Сиркке и возможной находке золота. Но Хейкки на мою приманку не клюнул, и снова наступило молчание.

Он долго лежал без сна. Я это чувствовал по его частому дыханию, по тому, как он все время глотал слюну. Хейкки к тому же потел, хотя на чердаке было прохладно, и едкий запах его пота ударял мне в нос. У него на душе, видно, было тяжело, и все же между нами стояла стена, правда тонкая и невидимая, но все-таки стена.

Но что же воздвигло эту стену? Обычная застенчивость? Или возникшее на протяжении поколений недоверие ко всему и всем, и в первую очередь к иностранцам? Или всего лишь вялость и инертность, столь характерные для многих жителей глухих и отдаленных мест?

На протяжении лет, прошедших после той моей поездки к старателям на Лемменйоки, мысленно я часто возвращался к Хейкки и Сиркке. Уж очень хотелось узнать, как сложилась их дальнейшая судьба. И вот как-то летом я случайно повстречал старателя Ниило, того самого с рыжей бородой. Он был навеселе и в ответ на мой вопрос вытащил из кармана большой слиток золота, сунул его мне прямо в нос, потом, довольный, засмеялся и пошел дальше.

Постепенно я забыл и Хейкки и Сиркку.

Но сейчас, в эту теплую июльскую ночь на мосту Ивало, я вдруг живо представил себе все, что произошло или могло произойти там, в лагере старателей. Я спрашиваю Хейкки, как его дела, построил ли он тот чудесный домик в глуши леса, о котором так мечтал.

— Да, дом готов,— отвечает он.— Теплый и добротный дом. Мне хорошо там жить.

— И ты женат?

Хейкки вращает глазами, и кажется, будто ему трудно дышать.

Под конец он отворачивается, чешет затылок и говорит с какой-то горечью:

— Н-нет еще...

Голос его становится дряблым и скрипучим, напоминая звук тех самых досок под оленьей шкурой, на которых он лежал на чердаке на Лемменйоки.

Кожаный ранец как бы сам собой соскальзывает у него с плеч, Хейкки опускается на край тротуара и говорит:

— Присядем-ка чуток. День-то был долгий, а я иду издалека.

Раскрыв ранец, он погружает в него руку и достает начатую бутылку водки. Не торопясь, вынимает пробку, подносит горлышко ко рту и отпивает большой глоток, затем протягивает бутылку мне.

Хейкки опять копается в ранце, достает кусок сушеной оленины и отрезает от него тонкие полоски, затем говорит твердо и спокойно:

— Теперь послушай!

Он жует, задумчиво посасывая тугое мясо, нарезает еще пару полосок. Затем начинает свой рассказ:

— Понимаешь, всего дня через два после того, как ты уехал, я ушел километров за десять на запад, там есть высохшее русло ручейка. Один древний старатель говорил, что именно там надо попытаться покопать еще. А ведь старые обычно знают, что говорят. Все лето я собирался отправиться туда, и все что-то мешало. Другим старателям я не сказал ни слова, а то могли бы увязаться со мной и, обнаружив золото, раньше меня получить участок. Поэтому я потихоньку собрал себе провизии дня на два и отправился в путь. Даже Сиркка и та ничего об этом не знала.

Первую пробную яму я прокопал метра на два. И там на дне, у самой горной породы, нашел не меньше чем грамм пятьдесят золота. Некоторые из зерен были шириной в три-четыре миллиметра, но, конечно, совсем тонкие.

Можешь себе представить, как я загорелся. Место-то не из плохих, но воды поблизости не было, и промывать стало очень трудно, так что я не смог определить, много ли там золота. А просто на глаз я мог увидеть только самые крупные зерна.

Я прокопал новые ямки, но ничего особенного там не обнаружил, хотя в одной из них нашелся крохотный осколок. Вся эта работа задержала меня почти на неделю. Съестные припасы кончились, и я питался в основном форелью, которую ловил в ближайшем озере. Но вскоре мне пришлось все же вернуться: товарищей мое долгое отсутствие могло удивить, ведь я никому ничего не сказал, и вот, измученный голодом, я снова появился в лагере старателей.

Но Сиркки там уже не было! Она исчезла утром того дня, когда я возвратился. Обеда она не сварила, и никто ее даже не видел. Старатели отправились на поиски и проискали весь остаток дня, ведь она могла свалиться в одну из бесчисленных ям и просто сломать себе ногу.

Вечером, обнаружив, что рюкзак и большая часть ее одежды тоже исчезли, мы поняли, что Сиркка нас покинула, оставила свою работу. Это было странно: ей причиталось жало-

ванье за целых полмесяца, да и деньги в картонной коробке она тоже не тронула. Ей, видно, надоело работать у нас.

С уходом Сиркки стало как-то пусто, чертовски пусто. Через неделю мы выписали в лагерь жену одного из старателей. Она, конечно, умела готовить и держала порядок, но все было уже не так, как при Сиркке. Совсем не так. Я вскоре получил тот участок, перетащил туда старую, полуразвалившуюся лачугу и жил в ней до тех пор, пока не выпал первый снег и копать дальше стало уже невозможно.

Особенно много золота найти мне там не удалось, но все же место было лучше, чем на Лемменйоки. Гораздо лучше! Добыча была настолько приличной, что в ту зиму я мог прожить без того, чтобы работать еще на лесозаготовках — в снег, холод и в тяжелых условиях.

О Сиркке я ничего больше не слышал, да и другие тоже не имели о ней сведений. Никто не знал, куда она направилась.

Прошло года два. Однажды в субботу, это было в период отпусков, я сидел в туристской гостинице в Инари, ужинал и пил пиво. Назавтра в местной церкви была назначена служба, и почти все наши старатели взяли себе выходной. Ресторан в тот час был занят (ждали автобус с туристами), и вместе с несколькими посетителями я устроился в кафе. Там было тоже неплохо.

Вскоре прибыли туристы, одни женщины, они вовсю шумели, громко разговаривая между собой. Несколько человек уселись за соседний столик. Они смеялись и кричали, часть из них говорили по-фински, часть — по-шведски. Знаешь, по-шведски я тоже немного понимаю, но стараюсь об этом никому не говорить.

Ближе всех ко мне, почти спиной, сидела женщина, которая показалась удивительно знакомой. Где-то я уже видел точно такие движения. Из всей компании лишь она не смеялась и ничего не говорила. Да... она была чертовски похожа на Сиркку.

Я смотрел на нее долго и пристально, и мне даже стало казаться, что все другие за столом куда-то исчезли. Я больше их не видел и не слышал. Не правда ли, странно?

Возможно, она почувствовала, что на нее так пристально смотрят. Говорят, люди могут чувствовать, когда на них устремлен такой взгляд. Внезапно она обернулась, посмотрела мне прямо в глаза.

И знаешь, скажу я тебе, это была Сиркка!

Мы сидели и какое-то время смотрели друг на друга. От волнения у меня затряслись руки, и я отпил большой глоток пива.

Но вот Сиркка встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были широко раскрыты, а уголки рта подергивались. Вначале ни один из нас не мог произнести ни слова.

— Ну, как твои дела? — сказала она спустя вечность.

Не помню точно, что именно я ей ответил. Все казалось таким нереальным. Голова у меня ходила кругом, словно я был пьян.

— Ты скрылся тогда,— сказала она наконец.

Я не знал, что говорить. Видно, не совсем разумно отвечать, если она вот так начинает разговор. Но затем я решил ей сказать то, что было на самом деле.

— Я пошел искать золото. И я нашел его! Но когда вернулся назад, тебя уже не было.

Она посмотрела на меня большими глазами, и лицо ее побелело. Уголки рта стали подергиваться, она крепко вцепилась в край стола, и казалось, что ей нехорошо.

Когда она снова пришла в себя и лицо ее слегка порозовело, я спросил Сиркку, куда она тогда отправилась. Ведь она исчезла так неожиданно и совсем бесследно.

— Я пошла в Вуотсо, прямо через лес,— ответила она,— мимо старых лагерей старателей у Ивалойоки. Потом добралась до Рованиеми. А теперь вот живу в Хапаранде.

Я спросил, вышла ли она замуж. Сиркка протянула мне обе руки. Кольца на них не было.

Наступила тишина. Я не знал, что мне еще сказать.

— А ты... ты построил домик, как собирался? — спросила она чуть погодя, глядя куда-то в сторону.

Я сказал ей, что домик еще не достроен. Но к зиме он будет готов, добавил я. Это будет хороший дом, теплый и красивый.

В этот момент подошла другая женщина и взяла ее под руку. Автобус уже отходил. А Сиркка так и не съела свой обед.

— У меня отпуск, мы едем в Норвегию,— сказала она.

На мой вопрос, собирается ли она когда-нибудь приехать в Лапландию, Сиркка ответила:

— Да, может быть...

И направилась к выходу.

Прежде чем выйти из зала, она обернулась и послала мне долгий взгляд.

У меня снова как-то странно закружилась голова, и я заказал еще кружку пива.

Вскоре пришли остальные старатели. Было много шума, много кружек пива и разных людей. Я только помню, что проснулся под сосной около наших палаток. Было уже утро воскресного дня, и голова трещала так, словно вот-вот взорвется.

Я снова отправился на Лемменйоки, в домик старателя на голом плато.

Хейкки замолкает, откладывая в сторону сухую оленину и нож. Затем хватает бутылку с водкой, нервным движением вытаскивает пробку и отпивает хороший глоток. Рука его дрожит.

На мосту становится прохладно, а сидеть на тротуаре совсем холодно. Пешеходный тротуар сделан из бетона, обрамлен-

ного железным уголком. Того и гляди застудишь мочевой пузырь. Но что делать, я должен дослушать до конца его историю. И я подсовываю под себя ладони — так будет теплее сидеть.

Когда Хейкки проглотил водку и снова начал нарезать полоски мяса, я спросил, не изменилась ли Сиркка. Была ли ее внутренняя красота по-прежнему столь восхитительной, а глаза доверчиво голубыми?

— Да, она была такой же, как и прежде, только одета гораздо богаче. И на виске появилась какая-то отметина.

— Что... что ты говоришь? — воскликнул я от неожиданности.— Продолговатое красное пятнышко?

— Да, именно пятнышко,— ответил Хейкки, устремив на меня удивленный взгляд.— Ярко-красное. И очень некрасивое.

Боже ты мой! Какое совпадение!

Направляясь в начале лета в финскую Лапландию, я, как обычно, ехал через Боден, Хапаранду и Рованиеми. Я не успел заказать себе заранее номер в Рованиеми, и ночевать мне пришлось в Хапаранде. На следующее утро предстояло ехать дальше в Ивало.

Вечером я спустился в столовую, чтобы поужинать. В зале в это время было всего несколько человек. Я присел за столик в углу, сделал заказ и стал просматривать вечернюю газету. Когда мне принесли ужин, я отложил газету в сторону и окинул взглядом зал. Вблизи меня сидела пара средних лет. Мужчина был довольно тучным, на нем надеты красные носки, небрежно завязанный галстук того же цвета и поношенный, явно тесный ему костюм.

Сидевшая рядом с ним женщина пристально меня изучала, не отрывая взгляда. На одном из висков у нее виднелось красное пятно. В ее больших, чуть выпуклых глазах было что-то знакомое, но этого красного пятна я никогда не видел прежде. Я приступил к еде, не думая больше об этой паре.

Когда я рассчитывался с официантом, женщина и мужчина тоже поднялись со своих мест и направились к выходу. Он пытался взять ее под руку, но она отстранилась. Проходя затем по вестибюлю, я увидел, как они покидали гостиницу, теперь уже рука об руку, негромко разговаривая между собой.

Хейкки сидит молча и задумчиво, нарезая ломтики сушеной оленины. Да и я погружен в мысли.

Две машины с иностранными номерами проезжают мимо, и никто не обращает на нас внимания. Но те двое туристов, что недавно прошли через мост, теперь возвращаются обратно и, заметив нас, весьма удивлены. Сойдя с тротуара на проезжую часть, они обходят нас подальше и, словно зачарованные, смотрят на бутылку с водкой, оленину, финский нож и полушального человека рядом со мной на тротуаре. Хейкки не обращает на них никакого внимания, он их даже не замечает.

— Она все равно придет, вот увидишь,— произносит он немного погодя.— Не веришь? Я почти уверен.

Я не знаю, что мне ответить. После того, что я видел в Хапаранде, мне и не хочется вселять в него какую-то надежду, но и говорить такое, что убьет его многолетние мечты, тоже не могу. Хейкки, как и многие обитатели северной финской глухомани, не может жить без мечты об ином, богатом и более достойном существовании. Будучи молчаливым и замкнутым, Хейкки обладает богатым миром фантазии, и она помогает ему преодолевать лишения, беспроглядную бедность, одиночество и другие трудности. Эта мечта, мир фантазии есть тот бесценный дар, который все же стоит защищать.

Когда мы уже обо всем переговорили, Хейкки снова запихивает бутылку с водкой и сушеное оленье мясо к себе в ранец и встает.

— У нее там, видно, есть родные,— произносит он.— Я собирался сходить посмотреть, там ли она.

Я провожаю Хейкки через мост. Солнце уже не такое красное, и пожар в окнах гостиницы совсем потух. На шоссе стало пустынно, даже машины и те исчезли.

Мы доходим до развилки шоссе, где поворачивает дорога на гостиницу, и прощаемся друг с другом. Глаза у Хейкки горят. Но где-то в глубине их, под влажным глянцем от выпитой водки, серой пеленой лежит сомнение.

Мы протягиваем друг другу руки, и Хейкки на прощание выдавливает из себя несколько невнятных слов. Сделав два шага, он поворачивается и говорит резким, почти крикливым голосом:

— Ты ведь тоже веришь, что она придет?

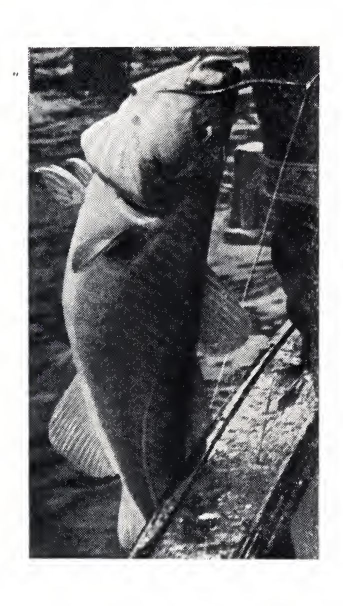
Да, верю. Конечно, верю.

И уже более легким шагом он плетется дальше. Там, в ночи, раздается гортанный голос Хейкки, выражая всю его надежду и неизбывную тоску:

— Оооохуууу лоллоооххх, ооохуууу лоллооххх, оооххх ооо...



Вот это треска!
Больше 15 килограммов!

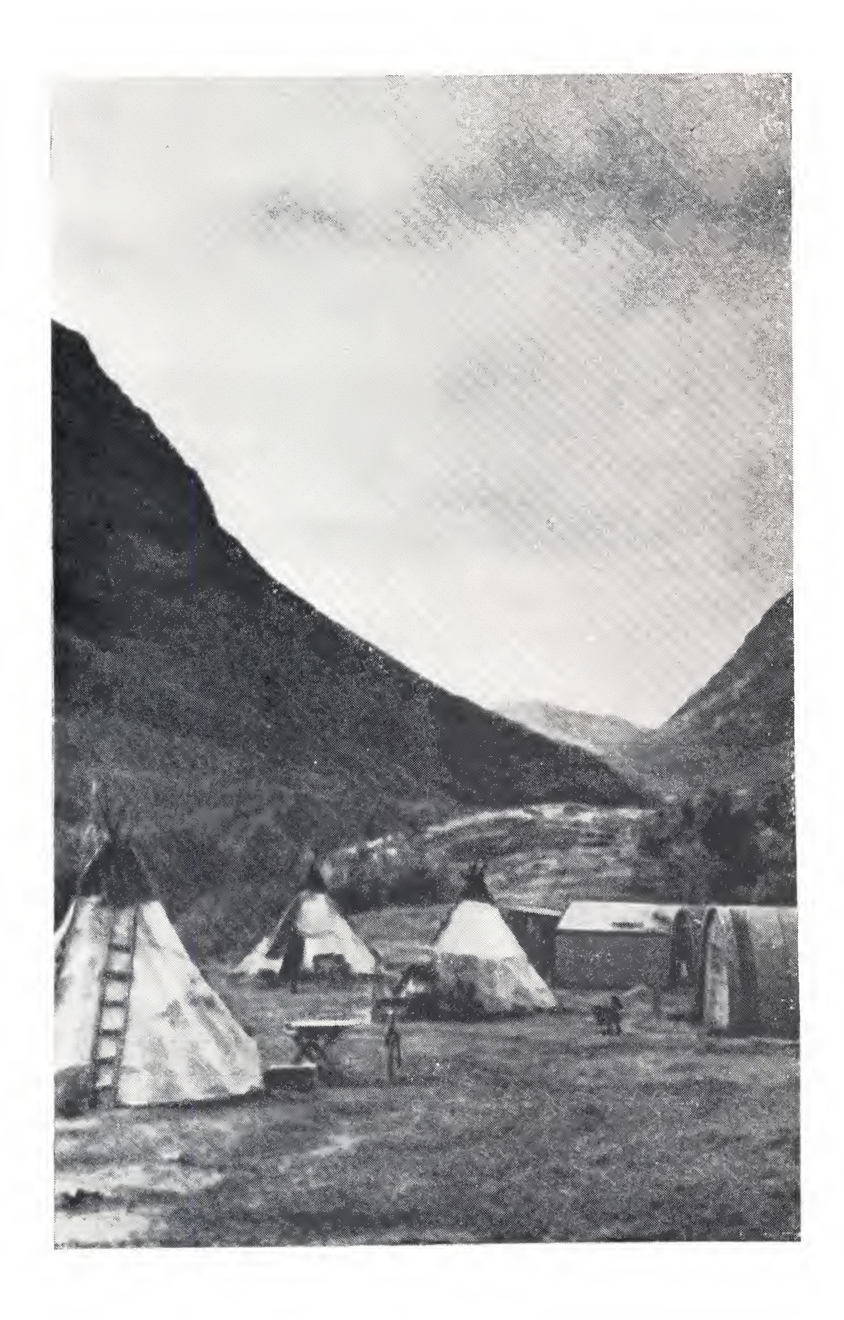


На Инари много островков,
шхер, заливов

◄ Лапландия. Большой водопад

Лосось сегодня попался крупный

Летнее стойбище
пастухов-оленеводов
в горах к северу
от Инари

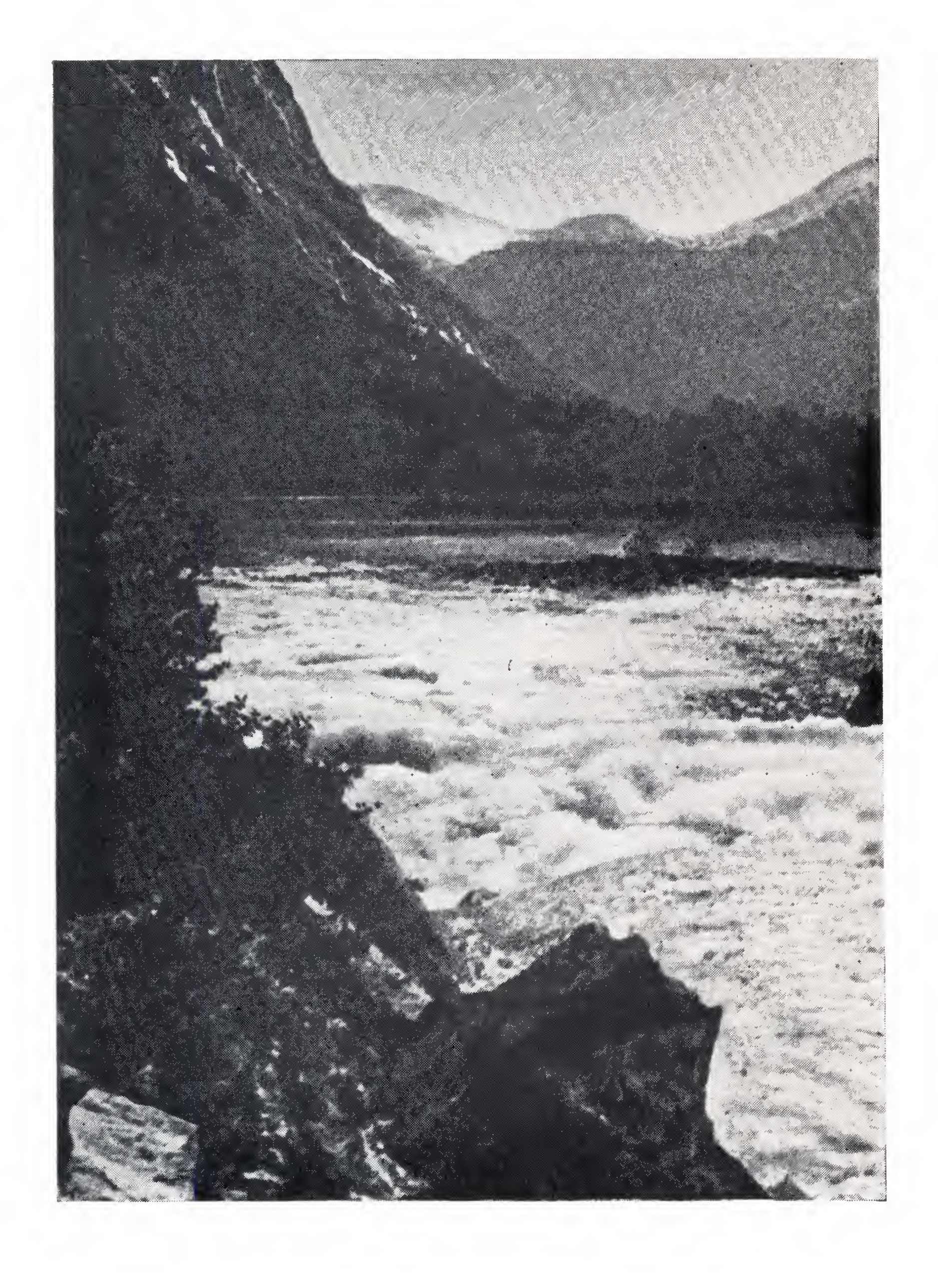


Рыбаки-саамы в районе Инари не пользуются сачком

Автор книги — бывалый рыбак

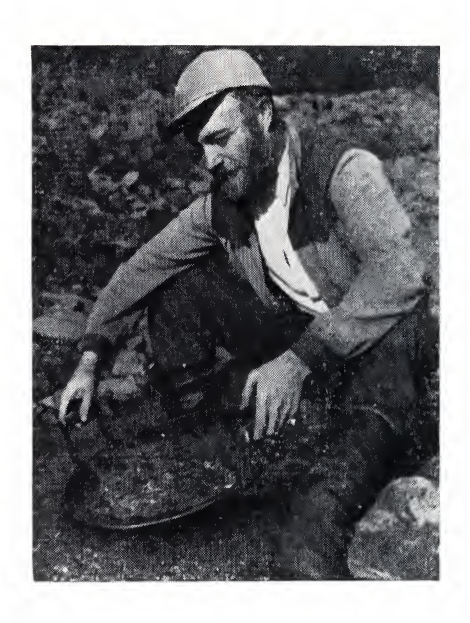


В горах



Старатель
на берегу Лемменйоки

У берегов
Северного Ледовитого океана



Лапландия не всюду гориста



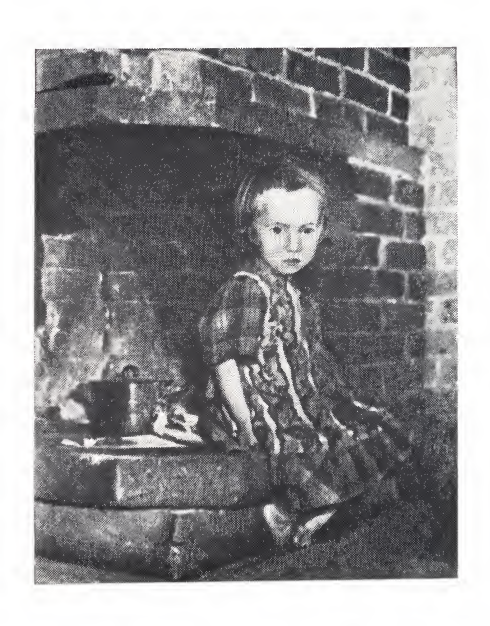
В ветреную погоду на Инари неспокойно

Бурная стремнина

Счастье рыбака



Девочка
у очага в жилище саама

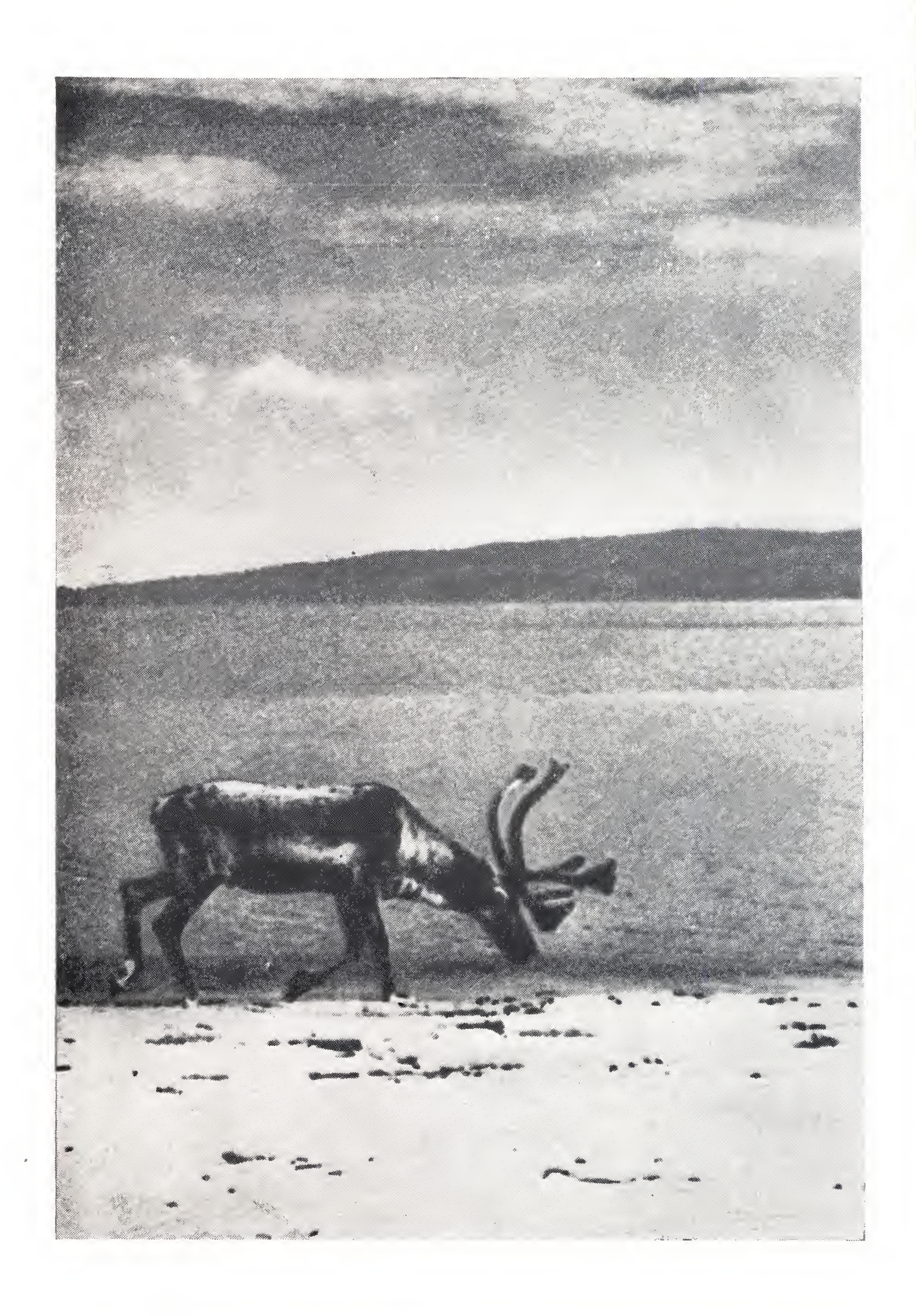


Оленевод
собирает свое стадо

Много таких дозорных будок
в бескрайних лесах
Финляндии



Красива и величественна
земля саамов



Утренний улов гольца,
подвешенный на жердях,
как это принято у саамов



Стоянка пастуха-оленевода

◄ Большой улов

Верная помощница старателей



Водная преграда
для оленей не помеха

Рыба в сачке

Саамский национальный костюм



Примитивное жилище рыбаков-саамов.
До недавнего времени они жили в таких землянках из дерна

Северная Лапландия

В озере Инари
много крупных щук.
Рыбак-саам гордится своим уловом



Она тоже мечтает
о дальних странах

Домик старателя
на Лемменйоки



Удачливый турист



Сумерки

Молодой саам-оленевод

Следы росомахи



На досуге

На просторах Финмаркского нагорья







Большой лосось

Начисто обглодав последние жилы с оленьей лопатки и проглотив жидкую кашу, Уле набивает себе в нос хорошую понюшку табаку. Какое-то время он сидит неподвижно, давая завтраку опуститься в желудок, с удовольствием ощущая, как пища и табак согревают и успокаивают сердце и нервы.

Так он сидит минут пятнадцать, может и больше, молчаливый и отсутствующий. На дворе исчезают последние блики заходящего солнца, и овцы собираются у хлева. В окно видно, как крадется дворовая кошка, неся в зубах полевую крысу.

Наконец Уле поднимается, потягивается и, обратившись к молодой жене, которая хлопочет у плиты, неторопливо произносит:

— Знаешь, Магган, я, пожалуй, пройдусь к стремнине. Кто знает, авось повезет.

Магган ничего не отвечает. Она уже привыкла к тому, что летом ей не часто приходится проводить ночи вместе с Уле. В это время его волнует только один лосось.

Но Магган понимает, что так и должно быть. Лосось для них самый важный источник доходов, а поймать его можно только ночью. Так что с этим надо мириться.

Уле достает в сарае весла, спиннинг и идет по тропе к Большому водопаду. Там стоит такой сильный грохот, что земля дрожит. Но Уле к этому привык и совсем не замечает гула.

Спиннинг подготовлен к броску. На лесу закреплена небольшая зеленовато-коричневая блесна в форме рыбки со светлым брюшком, сплошь искусанная острыми зубами лососей. Лучшей блесны на Большом водопаде и не придумать — если уж лосось не клюнет на нее, значит, лов не состоится.

Блесна эта шведская, во всяком случае он получил ее от шведского туриста. Но теперь она уж так потрепана, что следует подумать, как бы достать другую.

Спустившись на каменистый берег реки, Уле останавливается и окидывает взором большой Каменный омут. По всей стремнине крупнее омута нет, если не считать Большого омута внизу, в конце стремнины.

Каменный омут — сто пятьдесят метров в длину и почти столько же в ширину. В верхней части стремнины течение бурное, и оно переходит в узкий водопад. Внизу поток тоже стремителен, эта часть зовется Каменной стремниной; вода тут довольно мелкая, в ней множество острых камней. Если взятый на блесну лосось попадает в эту часть стремнины, то считай, что он потерян совсем, особенно когда в реке бывает мало воды. Да и уйдет ведь не только лосось, он унесет с собой обычно и блесну, а вместе с ней и много лесы.

Каменный омут глубокий и тихий. Лосось, поднимаясь вверх по реке, останавливается в этом омуте, чтобы слегка передохнуть. Впереди такая длинная и очень трудная стремнина, вся покрытая бурлящей пеной.

В этом омуте Уле добыл не одну сотню лососей, и в отдельные дни он зарабатывал весьма прилично, ведь северонорвежский лосось ценится высоко. Но рыбачить в омуте опасно: лодку легко может снести далеко вниз и затянуть в бурный поток у выхода из стремнины. Не раз, когда на блесну попадался крупный лосось, Уле едва не затягивало в стремнину, а плыть по ней на лодке все равно что кануть в вечность.

Там, где кончается омут, посреди бурного потока, к первому белопенному гребню прилегает низкая каменная плита. Ее называют Лососевый камень. Весной, когда река разливается, плиту совсем не видно. Да и осенью, когда идут дожди, плита тоже скрыта под водой. Но сейчас уже долго стоит засуха и дует восточный ветер. Уровень воды опустился, и Лососевый камень виден хорошо; поток через него не перекатывает, но, обтекая камень, сильно и быстро мчит рядом. А внизу, в небольшой заводи, клочья белой пены пляшут и беснуются в вечном круговороте.

Чуть пониже Лососевого камня всегда ходит рыба. Крупная рыба, и стоит опустить в заводь блесну, как она может тут же клюнуть. Если это большая рыба, то у вас такое ощущение,

будто блесна застряла в камнях. Лосось по-прежнему стоит не шелохнувшись, и, только если бросить в заводь камень, он быстро устремится вниз. Поток тут бурный, русло забито камнями, да и берег усеян валунами высотой в рост человека. Двигаясь по берегу, надо лавировать среди огромных камней, и следовать за лососем невозможно. Отпускаешь лесу до предела, но где-то посреди стремнины узел на катушке спиннинга срывается, и все равно рыба уходит, унося с собой и лесу и блесну. А сам рыбак набьет лишь кучу шишек или растянется на скользких камнях на берегу реки. И ночь потеряна напрасно.

Бывает, правда, и так, что лосось, побившись о камни, заходит в тихий омут, и тогда его можно спасти. Но это случается не часто.

Нет, лучше уж держаться от Лососевого камня как можно дальше.

Стоя на берегу и глядя на поверхность омута, Уле замечает, что чуть повыше Лососевого камня неподвижную гладь воды нарушает легкое волнение. Похоже, тут играет хариус. Но тотчас же метра на полтора пониже над водой появляется хвост лосося.

Вот он, большой лосось!

Значит, эта рыба все еще тут. И Уле и Эрлинг, другой рыбак, живущий в скромной лачуге внизу, у Большого омута, недели три назад видели эту рыбу. Лосось даже высовывал из воды голову, озирая водопад и стремнину. Он, видимо, не раз пытался преодолеть водопад, но не смог это сделать. На поверхности реки чуть ниже водопада ходило множество воздушных пузырьков, но вода была неплотной, и лосось не мог взять такой разбег, чтобы одолеть подъем.

Теперь он ждет дождя и повышения уровня воды.

Ни Уле, ни Эрлингу ни разу не удавалось зацепить этого гиганта на крючок. А если он даже и клюнет, то измотать его будет не легко: омут слишком мал, чтобы удержать рыбину на малой воде. Лосось велик и силен, килограммов на тридцать, а в таком быстром потоке вес его и того больше. И все же если чуть-чуть повезет, то, может быть... Во всяком случае надо попытаться. На омуте у Уле есть лодка. Он всегда рыбачит только с лодки.

Эрлинг — плохой гребец. К тому же он труслив, а потому ловит прямо с берега. Но и оттуда ему удается поймать коекакую мелочь, так килограмм на восемь — десять. Ну а по-настоящему крупные рыбы ему попадаются редко. К тому же он теряет много блесен: они застревают в камнях и ветвях деревьев, их уносят крупные рыбы, которых он не в силах удержать в пределах омута.

Уле снимает с цепи замок и сталкивает лодку на воду. Это старая, тяжелая лодка, совсем не подходящая для Каменного омута. Он уже заказал себе новую, легкую и быструю, с нее-то

он сможет вытащить из воды любого лосося. Ведь как только рыба клюнет, надо побыстрее добраться до берега, желательно чуть-чуть ниже маленького водопада. Тогда перед тобой будет много спокойной воды, достаточно места, чтобы «укатать» лосося.

Мелкий лосось поднимает страшный шум, но ловить его тоже интересно. Попавшись на крючок, он может одним махом растянуть лесу на сотню метров, причем чаще он как серебристая молния летит над черным омутом, оставляя позади себя мелкие клочья белой пены. До чего же красивое зрелище! Но вот лосось вдруг срывается с крючка, и зрелище уже не кажется ни привлекательным, ни интересным.

Уле отчаливает от берега, забрасывает блесну и постепенно отпускает лесу. Поначалу он гребет как можно ближе к водопаду, к гребешкам кипящей пены. Случается, тут стоит лосось. Переплыв омут, Уле поворачивает и гребет обратно, на этот раз в нескольких метрах ниже по течению. Так он прочесывает омут туда и обратно по схеме, отработанной на протяжении многих лет.

Когда Уле спускается до середины омута, блесну подхватывает глубинное течение, затягивая все глубже вниз, что видно по углу наклона лесы. Здесь-то обычно и стоит лосось: самые крупные его представители предпочитают наиболее быстрый поток, что всего в десяти — пятнадцати метрах над Лососевым камнем.

Уле прочесывает поверхность воды, ибо знает, что крупный лосось возьмет блесну, если она окажется у него под носом. Все это как бы лотерея; именно поэтому охота на лосося бывает особенно интересной и настоящему рыбаку никогда не надоедает. К тому же ночь предстоит длинная.

Но сегодня лосось точно вымер, и, сколько Уле ни ходит вдоль и поперек по омуту, клева так и нет. Но Уле знает, что внезапно, словно по сигналу, рыба может вдруг проснуться и начнется клев. И длиться он будет недолго — каких-нибудь полчаса, в лучшем случае час. Тогда уж надо не зевать и взять как можно больше лососей. Только бы в разгар борьбы не лопнула леса.

Уле достиг границы опасной зоны, спускаться ниже он уже не решается. Он и без того забрался слишком далеко, и удержать большую рыбу, заставить ее пойти в омут не просто. Трудно удержать и лодку и снова направить ее в тихие воды омута. Ведь как только рыба клюнет, он отпускает лесу и заходит по дуге так, чтобы оказаться ниже рыбы. В этом случае леса тянет снизу и лосось, которого вдруг потащило вниз, бросается с испугу вверх по течению. Одновременно Уле как можно быстрее гребет к причалу. Когда он подходит к нему, большая часть лесы уже размоталась и широкой дугой направлена к Каменному водопаду. К тому времени лосось уже сильно на-

пуган и стремится проникнуть в верхнюю тихую часть омута. И вымучить его — дело уже нехитрое.

В этот момент — бац!

Визжит катушка, стремительно разматывается леса. Но всего на несколько метров.

Уле сплевывает табак и, стиснув зубы, начинает грести. Он хорошо знает, что сейчас происходит. Лосось остановился посреди сильного потока. Он стоит и «бодается». Это делают только самые крупные экземпляры.

Уле берет спиннинг и, освободив немного тормоз, выпускает побольше лесы. Пускай она растянется по большой дуге вниз по течению, давление на рыбью морду должно быть снизу, иначе лосось уйдет к бурной стремнине на Каменном водопаде, к острым камням порогов, и будет потерян навсегда. Да не только лосось, но и блесна. А это много хуже, чем потерять большую рыбину.

Выпуская лесу, Уле забывает про лодку, и ее относит далеко в стремнину. Пока он возится с лесой, которая уже запуталась, лодка продолжает идти по течению, и, когда Уле хватается за весла, она уже далеко в стремнине. Течение такое сильное, что он не в силах вернуть ее в омут или хотя бы удержать на месте. Как яростно он ни гребет, лодку относит вниз. Река становится все мельче, у поверхности воды показываются камни.

А Уле все гребет и гребет. Но поток настолько сильный, что лопасти весел, не встречая в воде сопротивления, скользят вхолостую.

Правое весло вдруг цепляется за камень. Стараясь не выпустить его из рук, Уле гребет одним левым, и отчаяние придает ему силы. И все равно он не может удержать лодку, ее начинает разворачивать. Это самое страшное. Если лодка встанет поперек на каменистой стремнине, она безнадежно погибла: как только киль зацепится за камень, ее в тот же миг перевернет.

В этот момент ломается лопасть правого весла: Уле слишком сильно на него навалился. Бешено танцуя на волнах, лодка несется вниз, на более мелкую воду. Дно реки, сплошь усыпанное камнями, так стремительно проносится мимо, что Уле едва его видит.

Резкий толчок, треск, мощный удар о борт. Словно невидимая рука поднимает гребца из лодки, и, совершив мягкий, удивительно легкий полет, он через мгновение лежит в воде. Удар приходится в ногу. Спиннинг он по-прежнему держит в руке, хотя и не помнит, как схватил его, когда перевернулась лодка.

Теперь перед ним вся опасная и бурная Каменная стремнина. Он знает, что случится дальше; еще не было случая, чтобы человек живым вышел из плавания вниз по этой стремнине.

Воспоминания разом проносятся у него перед глазами — счастливые годы детства в коте, тяжкий труд пастуха-оленевода с изнурительными переходами вверх и вниз по горам, часто без сна и еды, стадо оленей, добытых ценой большого труда и лишений и унесенных снежной лавиной. Затем годы жизни охотника и рыбака, первая кота здесь, у Большого водопада, такой удачный лов лососей до тех пор, пока туристы не научили рыбу бояться крючка и блесны, ухаживание за Магган, соперничество со стороны Эрлинга, потом женитьба и свадебный обед, когда Эрлинг напился пьяный и запустил в него ножом, но попал слишком высоко, в лопатку, и как потом замяли это дело, чтобы ленсман ничего не узнал, и как они снова стали друзьями. Правда, не такими, как прежде, Эрлинг никогда не приходил теперь к Уле, когда Магган бывала дома. А заглядывал ли он в другое время, этого Уле не знал, но все же думал, что вряд ли. После женитьбы Уле между ними легла тень.

Уле построил себе домик. Корову он имел и раньше, да вот и несколько овец, которые быстро подрастали и служили добрым подспорьем в хозяйстве. Купил также несколько оленей, но дела с ними обстояли хуже: олени то и дело пропадали. Раза два он находил места, где животные были забиты, но остатков шкуры нигде не было видно. Значит, животных загрыз не волк и не росомаха. У Уле возникли подозрения.

И все же жаловаться было грех, жил он, конечно, неплохо. Во всяком случае не хуже, чем те саамы, у которых было много оленей. И не удивительно, что кое-кто ему завидовал. В жизни ему недоставало только одного — своего ребенка, сына. Но Магган детей ему не подарила. Видать, была на это просто неспособна, а ей так хотелось иметь детей.

Уле наглотался воды. Засосало даже в легкие, и он почти не может дышать. Страшно сдавило грудь, кровь распирает сосуды. Но все же он чувствует, как нога скользит по камням, рука скребет по дну. Мозг действует четко, бурно работает мысль.

Ну а что же Эрлинг!

Нет, чтобы этот дьявол женился на Магган! Ей, конечно, нелегко будет справиться одной. Но она молода, красива и наверняка выйдет замуж. Но только не за Эрлинга. Если она так поступит, он отомстит Эрлингу и после своей смерти. Ведь он скоро повстречает богов своих предков и расскажет все Мадеракке, которая правит жизнью саамов с самого своего зачатия, попросит ее забраться темной ночью к Эрлингу и убить его...

Уле очнулся от сильного удара в спину, в левую лопатку, как раз в то место, где нож Эрлинга оставил вспухший красный рубец. Придя в себя, Уле видит, что лежит на Лососевом камне. Его рвет. Сплошная каша и вода и снова каша. Потом

идет чистая желчь. Но страшная тяжесть в груди, та, что распирала и разрывала сосуды, понемногу отпускает.

Уле озирается вокруг.

Да, он действительно лежит на Лососевом камне. Удар в лопатку выбил из него большую часть воды, которой он успел наглотаться. Шляпа исчезла, лодки нигде не видно. Вода стекает с одежды, хлюпает в сапогах. Он по-прежнему держит спиннинг, совсем целехонький, ни одно из колец на нем не сломано и даже не погнулось. А катушка, чудесная катушка «Амбассадор», не имеет ни единой царапины. Взяв рукоятку левой рукой, он может смотать лесу. Распределитель действует как надо. Но само удилище очень тяжелое, что-то, видно, не дает поднять его вверх. Ах да, лосось! Огромный лосось! Где же он теперь? Все еще там? Возможно, стоит в заводи за Лососевым камнем?

Голова у Уле мигом стала ясной. Он вспоминает все, за исключением разве того, как очутился на Лососевом камне. Он хорошо помнит удар, отчаянные попытки поднять лодку в омут и то, как она опрокинулась. И конечно, лосося! Какого лосося!

Уле держит спиннинг в правой руке. Чтобы смотать лесу, надо переложить его в левую, а это невозможно, ибо пальцы скрючило как в судороге. Их надо попытаться разжать левой рукой, палец за пальцем. Указательный, лежащий на скобе под креплением катушки, словно врос намертво. Уле хочет его выпрямить, но испытывает резкую боль. Он много раз сгибает и разгибает пальцы, прежде чем начинает их немного чувствовать и может начать сматывать лесу.

Леса распущена на всю катушку, это, конечно, рыба размотала ее до конца. Дело идет очень туго, да оно и вполне понятно: даже пустая блесна в таком стремительном течении казалась бы крайне тяжелой. Но вот из воды, откуда-то снизу, показывается белая леса.

Катушка продолжает сматываться. Но почему леса тянется к каменной плите? Зацепилась там за выступ?

И вот, когда катушка полностью намотана, конец удилища начинает гнуться книзу, в направлении белопенного гребня, который так и ходит по кругу в заводи ниже Лососевого камня.

Там, видно, застряла блесна. Странно. Она обычно всплывает точно пробка, как только перестаешь сматывать катушку.

Уле глазами провожает лесу в глубь белого гребня.

И там, о великий создатель, там в глубине стоит огромный лосось! Посреди белого гребня. Он лежит на спине, такой же белый, как пена, почти незаметный для глаза. Жабры работают вовсю, рот то закрывается, то открывается, грудные плавники медленно ходят взад и вперед.

Как же все это произошло? Возможно, лосось вымучен

борьбой, которую вел Уле за собственную жизнь? Сам того не ведая, так загнал лосося? Недаром, видно, пальцы цепко сжимали удилище с катушкой.

Или нет, когда перевернулась лодка и его выкинуло в реку, лосось мог находиться где-то совсем близко. Не исключено, что Уле шлепнулся прямо на рыбу, и та, испугавшись, в слепом страхе врезалась в камень, а сильный удар ее оглушил. Но теперь к ней вскоре вернется жизнь.

Уле подползает к краю плиты и медленно подтягивает рыбу. До чего же она тяжела, хотя и течения нет никакого! Вот она, большая и широкая, появляется над белым гребнем.

Уле нагибается, осторожно просовывает пальцы под грубые жаберные крышки и, откинувшись назад, резким движением вытягивает рыбу. Она так тяжела, что он едва не теряет равновесия и не скатывается вниз.

Оказавшись на каменной плите, лосось понемногу возвращается к жизни, бьется и корчится всем телом.

Уле бросается на рыбу, подминает ее под себя, что есть силы рвет на ней жабры; кровь так и брызжет фонтаном. Лосось выскальзывает из рук, мечется во все стороны. И только усевшись на рыбу верхом, Уле удается вытащить нож и вонзить его в голову гиганта.

Но вот рыба вздрагивает, по телу проходит резкая судорога, раздается последний удар хвоста о плоский камень. Гигант сразу сникает, погружаясь в вечный покой, и темная полоска крови, пробираясь сквозь неровности каменной плиты, медленно стекает к воде.

Уле не спеша поднимается и как зачарованный смотрит на добычу. Раза два, прищурившись, качает головой. Такого огромного лосося ему никогда еще не доводилось поймать. Наверное, килограммов на тридцать, а возможно и чуть больше. Если так, то это будет рекордом Большого водопада, Уле сразу станет знаменитым и войдет в историю как выдающийся рыбак Большого водопада. И видно, что лосось не такой ослепительный и серебристо-белый, какими обычно бывают рыбы, только что пришедшие из моря. Он, должно быть, стоял в омуте уже несколько недель, а может и месяц. Пришел с весенним разливом, ведь самые крупные рыбы появляются обычно в это время года. Преодолеть водопад над омутом ему было не под силу, и, дожидаясь высокой воды, он наверняка сбросил килограмма два веса.

И все-таки какая рыбища, что за гигант! Если его тебе показать, Эрлинг, ты этого просто не перенесешь и можешь заболеть от зависти.

Конечно, это удача. Но вот он сидит на Лососевом камне с таким уловом, о котором мечтал всю жизнь, и не в состоянии выбраться из плена. Лодку куда-то унесло, наверное в нижнюю часть омута, к подножию Каменного водопада. И от нее,

конечно, остались щепки. Другой же лодки в омуте нет. Выше по течению живет Эйлиф, плотник, он обещал, что скоро пригонит новую лодку, которую заказал ему Уле. Она наверняка уже готова. Но подогнать ее к Лососевому камню, даже если осторожно тянуть за длинную веревку, никто не решится, ведь лодку все равно перевернет и она будет разнесена в щепы. А если и случится чудо, то лодка разобьется, когда будешь вытаскивать ее на сушу. Нет, уж если и спускать лодку к Лососевому камню, то надо иметь две лодки, а двух тут не найти.

Итак, с лодкой ничего не выйдет. Вода в каменистом русле чересчур мелка, а стремнина такая бурная. Остается единственный выход: кто-то должен перебросить ему лесу, и с ее помощью он переберется на берег. Но риск при этом велик. Бурлящие воды потока с силой потянут его вниз, и если лесу порвет о камни, то уж прощайся с жизнью навеки.

Другой возможности нет. Немного удачи и сноровки, и, надо думать, пронесет. Ведь он невысокий и легкий, глубоко в воду его не затянет. В худшем случае можно лечь на свою гигантскую рыбину и так продержаться на воде. Рано или поздно появится же какой-нибудь рыбак на берегу. Чаще всего тут ночи напролет носятся туристы со своими спиннингами и фотоаппаратами. Сколько раз он давал таким туристам подержать только что пойманного лосося, и те по очереди фотографировались с рыбой в руках. Ну как не похвастаться дома женам, которые томятся, умирая со скуки! Уле недолюбливал таких туристов, хотя они и оставляли немного крон. И вот сейчас как он мечтал о появлении туристов! Они увидели бы его на Лососевом камне, пошли к Магган и рассказали ей, что с ним приключилось.

Если не придет никто, то уж наверняка появится сам Эрлинг. Правда, у него есть лодка внизу Большого омута, и каждую ночь он ходит там по нескольку часов. Но в Большом омуте трудно поймать рыбу, и ближе к рассвету Эрлинг поднимается к Каменному омуту, чтобы сделать несколько бросков. Иногда ему удается кое-что поймать у причала, и это очень странно, ведь у Уле в том месте почти никогда не клюет.

Становится холоднее. Уле промок, и в желудке у него пусто. Попробовал вылить воду из сапог, но она так нагрелась от его тела, что без воды ногам стало холодно.

Кстати, температура воды в реке сейчас наверняка выше, чем температура воздуха. Солнце спряталось за Большой горой, и оно выйдет снова только через несколько часов. А в полночь вдоль реки дует холодный ветерок.

Как сильно ломит в лопатке! От удара снова разбередило рану. Левая рука немеет. А пальцы от острых жабер лосося покраснели и опухли. Касаться этих жабер опасно, но зато удалось быстро обуздать рыбу. Лосось был так силен и изворотлив, что Уле едва с ним совладел. Большой и указательный

пальцы сплошь в потемневшей крови, им больше всех досталось от острых жабер лосося.

Ну и холодина! Уле хлопает себя по плечам, чтобы согреться, но от этого усиливается боль в лопатке. И в пальцах тоже. Когда ты сухой, то холод не страшен, от него не заболеешь, надо лишь следить за тем, чтобы не обморозиться. Но если ты промок и дрожишь как осиновый лист, это много хуже. Именно так его брат Ивер схватил воспаление легких и умер. Он провалился по весеннему льду, а до дома было далеко. Ивер бежал что было мочи, но скоро подвернул ступню и пришлось ползти. Когда его нашли много времени спустя, он еще был жив и умер как раз в тот момент, когда в дверях показался врач.

Но что же не появляется Эрлинг? Разве не парадоксально, что Уле с нетерпением ждет Эрлинга, которого обычно стремится избегать? И вот теперь, единственный раз, когда Эрлинг может быть полезен, его как ветром сдуло.

Не крикнуть ли Салара? Собака, верно, спит у себя в конуре, но, может, услышит? Да нет, кричать совсем уж глупо. Могут подумать, что он зовет на помощь, но ведь опасности для жизни нет. Пока что еще нет.

Уле снова пытается согреться, похлопывая себя по плечам. Нет, не помогает. К тому же очень больно. Тело давно уже покрылось гусиной кожей, его трясет и знобит. В горле и спине начинает покалывать. Горло-то еще полбеды, это, видно, от сильной простуды. Но вот спина — это может быть уже опасно.

Нет, пожалуй, надо покричать:

— Салар! Хооо-ооооо!

Он притих, надеясь, что пес отзовется. Нет, собака его не слышала. Гул стремнины заглушает все звуки. Да и Салар начал стареть. Прошлой зимой он испугался росомаху, которую загнали на каменистый склон. Подумать только, пса напугала росомаха!

Вот дьявол, до чего же становится холодно! Сущее проклятье! Он снова кричит:

— Салар! Салар! Хоооооо-оооооооо!

Ждет, прислушивается. Если Салар проснется и станет лаять, то разбудит Магган и та поймет, что с ним что-то случилось. Особенно если Салар не угомонится. Она спустит собаку с привязи и бросится к реке. Увидев его в стремнине, Магган сбегает за старым спиннингом — она и сама отлично кидает блесну и даже поймала пару лососей — да прихватит с собой лассо, которым Уле пользуется, когда надо поймать оленя. Забросив блесну на Лососевый камень, она привяжет лассо к концу лесы, и Уле подтянет его к себе. Потом Уле обвяжет это лассо вокруг туловища, а Магган крепко привяжет свой конец к сухой сосне, что стоит у воды и часто мешает рыбакам, которые ловят с берега. Взяв спиннинг в левую руку, а правой ухватив лосося покрепче за жабры, он спустится в

воду позади Лососевого камня и пойдет, резко наклонившись, прямо против течения, пока поток в конце концов не собьет его с ног. Тогда набрав в легкие побольше воздуха, Уле отдастся во власть течения, и его быстро по дуге перенесет через стремнину. Веревка сильно сдавит спину и живот, но эта боль скоро пройдет. И если повезет, он не разобьет ни локти, ни колени. Подтянув Уле к прибрежным камням, Магган постарается смягчить удар.

Все будет хорошо, лишь бы только проклятый Салар его услышал. Бедняга, видимо, совсем оглох.

Дело начинает принимать серьезный оборот. Он снова машет руками, чтобы согреться, но сразу останавливается, чувствуя острую боль. Все тело страшно ломит.

Скоро три часа, как Эрлинг плавает по Большому омуту, не имея ни одной поклевки. Уже не первый раз он возвращается отсюда без улова. Но Эрлинг знает, если уж в Большом омуте клюнет, значит, крупная рыба. К тому же река тут широкая и чистая, течение небыстрое, спокойное, и если рыба окажется на крючке, ее можно водить целый час. И редко, когда рыба сорвется и уходит.

После трех часов непрерывной работы на веслах даже упрямый и стойкий рыбак может потерять терпение. Эрлинг причаливает к берегу и по исхоженной тропе направляется к Каменному омуту. Молодой березняк настолько густой, что лишь кое-где сквозь заросли виднеется стремнина.

И вот в том месте, где тропа сворачивает к причалу, у которого обычно держит лодку Уле, Эрлинг вдруг слышит со стороны реки какой-то крик. Но гул от стремнины так силен, что нельзя разобрать ни слова.

Эрлинг медленно приближается к берегу и, спрятавшись за большой камень, внимательно оглядывает омут. Вдали, на Лососевом камне, он замечает человека в темной одежде, без шапки. Рядом с ним огромный лосось.

Эрлинг мигом оценивает обстановку. Он уже видел, что на воде в Большом омуте плавают какие-то обломки, и теперь понимает, что это были остатки лодки Уле.

Но как человек оказался на Лососевом камне, да еще с таким гигантским лососем? Как сумел он в бурном потоке поймать эту огромную рыбу? Хотя в общем это не удивительно, ведь после того, как Уле потерял оленье стадо, ему сопутствовала удача. За что бы он ни брался, все удается ему.

Эрлинг отходит все дальше назад, соображая, что же предпринять. Допустим, Уле бы не выбросило на Лососевый камень, а понесло вслед за лодкой? Тогда его разбило бы насмерть о камни в стремнине и затянуло в бешеный водоворот потока. Года два назад тут пропал один чудаковатый турист, который раздобыл себе лодку и отправился рыбачить прямо в Каменный омут. Там он сумел поймать лосося, но лодку

затянуло в стремнину. Была она старой, прогнившей, никто не решался на ней плавать, давно уже следовало пустить ее на дрова. От лодки остались лишь трухлявые щепы, а рыбака и след простыл. А еще раньше в стремнину затянуло двух рыбаков-саамов, оба они были родом из этих мест. От их лодки тоже обнаружены лишь жалкие остатки, сами же они исчезли бесследно.

Таков Большой водопад. Если он принимает человека, то уж навсегда.

Как видно, Уле на сей раз тоже был на волосок от гибели. Отнеси лодку чуть подальше вниз, то... то Магган могла бы стать его, Эрлинга, женой. Это уж точно. Магган, вместе с новым домом, дойной коровой, стадом овец и несколькими оленями. И таким отличным местом для рыбалки — хотя, пожалуй, лучше обойтись без Каменного омута. Правда, омут можно продать другому рыбаку — как он ни хорош, ловить тут с лодки чересчур опасно.

Но Магган и все ее хозяйство! Ну и добыча! И жизнь в мире и покое!

Что же теперь делать? Помочь Уле выбраться на берег он, конечно, может. Дело нехитрое — перебросить через поток одно из новых крепких лассо Уле, что тот купил зимой, затем перетянуть его на эту сторону. Уле насквозь промерз, потому и зовет на помощь. Он не из тех, кто будет кричать без причины. Сейчас холодно, у Эрлинга и то застыли пальцы. А когда сидишь там на камне на ночном морозе, промокший до нитки, нетрудно схватить воспаление легких. Возможно, оно уж началось.

Вот Уле снова кричит. Зовет собаку. Если Салар услышит крики, Магган тут же примчится. Так что надо действовать быстрее. Но что же выторговать за помощь? Этого чудо-лосося или, может, спиннинг? А почему бы не спросить самого Уле?

Эрлинг быстро спускается к омуту и машет Уле рукой. Теперь ему хорошо видно, насколько велик лосось. Настоящий исполин! Ни он, ни Уле не видали в омуте крупнее.

— Помоги мне,— кричит Уле.— Принеси-ка новое лассо.

Эрлинг отвечает не сразу. Стоит молча и размышляет, делает вид, что не слышит. Неплохо бы иметь такой вот спиннинг. Эрлинг слышал, это дорогая штука. И похоже, он волшебный — Уле всегда приносит добычу.

— Помоги мне,— снова кричит Уле, опасаясь, что из-за гула воды Эрлинг его не услышит.

Эрлинг почесывает затылок. Этот дьявол кричит так громко, что и собака и Магган могут услышать. Тогда... тогда он упустит возможность. Лучше уж побыстрее приступить к делу.

— Ну, я могу помочь тебе. Но только... только ты отдашь мне спиннинг вместе с катушкой и всем, что полагается.

Уле приходит в ярость. Уж этого он от Эрлинга не ожидал. Ведь он не раз помогал Эрлингу, когда тот болел и ему нечего было есть. Так вот она, благодарность!

Проклятый Эрлинг! От него всегда можно ожидать любой пакости.

Уле отвечает не сразу. Он так возбужден, что просто не в силах ответить. Отдать спиннинг — нет, это невозможно, лучшего спиннинга ему не сыскать. Он получил его от одного богатого норвежца из Осло года два назад. Случилось так, что этот норвежец, директор какой-то фирмы, приехал на Большой водопад немного порыбачить. Рыбак-то он был никудышный, однако поспорил с приятелем, что сможет поймать лосося, и летом оба господина приехали рыбачить сюда, на Большой водопад. Они ловили много дней подряд, но ни один лосось не клюнул. И в то же время норвежец видел, как Уле достает из воды одну рыбину за другой. Тогда он спросил Уле по секрету, не поможет ли тот и ему поймать лосося, а в награду за помощь получит сто крон. Но Уле ответил не сразу. Сто крон, конечно, деньги хорошие, и если Уле колебался, то только лишь потому, что растерялся от такого предложения. Тогда гость увеличил вознаграждение до двухсот крон. Уле подумал, что ослышался, и только он хотел переспросить, что именно сказал норвежец, как тот повысил ставку до трехсот крон.

— Но больше не прибавлю ни кроны,— добавил он с досадой.— И помни, никто не должен знать, что лосось клюнул у тебя. Поймай его на мой спиннинг и хорошенько поводи. А я уж вытащу на берег.

Уле и гость отчалили вместе в одной лодке. Второй норвежец находился ниже по течению, в Большом омуте, и рыбачил вместе с Эрлингом. Примерно через час Уле поймал лосося, тотчас же поплыл к берегу и стал вымучивать рыбу. То был отличный лосось килограммов на десять, с ослепительно светлой чешуей, только что поднявшийся из моря. Он цепко боролся за жизнь, метался вдоль и поперек омута, взлетал над водой и так дергал лесу, что норвежец приходил в восторг. Когда лосось был наконец достаточно измотан и оставалось только вытянуть его на берег, Уле передал спиннинг гостю.

В этот момент и появились те двое, и оба остановились в недоумении. Счастливый рыбак, заставив приятеля истратить последнюю пленку, которая оставалась у него в аппарате, в приступе радости подарил Уле свой превосходный спиннинг вместе с катушкой, лесой и блеснами. А позднее передал Уле триста крон.

То была превосходная сделка. А спиннинг был такой отличный, что Уле ни за что на свете не хотел с ним расставаться. Почти что волшебный спиннинг!

— Ну,— кричит Эрлинг на берегу, начиная терять терпение.— Если хочешь, чтобы я тебя спас, отдавай спиннинг.

— Нет,— кричит ему Уле в ответ.— Его ты никогда не получишь. Лучше уж я замерзну насмерть. Можешь получить лосося.

Эрлинг задумывается, затем отвечает:

— Только при одном условии — будем считать, что я поймал его сам!

Проклятый Эрлинг! Этот дья... Но Уле вдруг осеняет идея, и он отвечает:

— Что же, пусть будет так...

Эрлинг срывается с места. Он очень боится, что Салар услышал последний крик Уле и сюда примчатся собака и Магган. Тогда ему не видать лосося, Магган сама поможет Уле перебраться на берег.

Эрлинг бежит к домику Уле, прямо к дровяному сараю. Салар просыпается и поднимает лай. Магган сонная выглядывает из двери как раз в тот момент, когда Эрлинг появляется с лассо в руках.

Магган цепенеет от страха, она понимает — что-то случилось. Окликает Эрлинга, и тот второпях бросает ей на ходу:

— Уле упал в стремнину!

Он слышит, как кричит Магган, но голос ее тонет в бешеном лае собаки.

Перед глазами у Эрлинга стоит только лосось. Он должен его получить. И Эрлинг мчится к Каменному омуту.

Магган сообразительна, мигом смекнула, что, если Уле оказался в стремнине, его отнесло уже далеко вниз. Схватив багор и отвязав Салара, она прямиком бежит к нижней части реки. Там есть зловещий омут, и, если Уле попал туда, ему нужна немедленная помощь. А если он и зацепится где-нибудь повыше, то снизу Магган все равно его увидит.

Спустившись к месту, где находится Уле, Эрлинг кидает блесну чуть выше Лососевого камня. Рассчитал точно — лесу относит к камню, где ее подхватывает Уле. Затем Эрлинг привязывает лассо, и Уле начинает тянуть его к себе. Бурный поток с такой силой подхватывает веревку, что Уле опасается, как бы не лопнула леса, хотя она довольно крепкая и рассчитана на большого лосося.

Но все идет отлично. Уле подтягивает лассо, обвязывает себя вокруг талии особым узлом, который не развяжется, каким бы ни было давление. Потом кричит Эрлингу, чтобы тот натянул лассо и хорошенько закрепил его за сосну у кромки воды. Эрлинг делает так, как ему сказано, а Уле что есть силы натягивает лассо, чтобы проверить его прочность. Блесну он, конечно, снял и спрятал в нагрудном кармане. Засунув спиннинг за поясной ремень, он берет лосося в правую руку и, спустившись в заводь позади Лососевого камня, медленно движется вброд в сторону берега.

Давление воды быстро возрастает. Чтобы удержаться на ногах, Уле наклоняется вперед. Камни скользкие, как мыло, и его относит вниз.

Так он проходит метра два, но затем будто невидимая сила выбивает у него почву из-под ног. Инстинктивно вдохнув побольше воздуха, Уле опрокидывается на спину. Его подхватывает бурное течение. Вода то и дело захлестывает его с головой, а лассо с такой силой сдавливает талию, словно хочет перерезать его пополам.

Ощутив сильный удар сзади, Уле думает, что настал его последний час. Неожиданно выпрямляет пальцы, и лосось, выскользнув из его цепких объятий, уплывает вниз по реке.

Но вот напор воды ослабевает, и Уле незаметно для себя оказывается на прибрежных камнях. Последствий удара как будто никаких, и он без посторонней помощи выбирается на сушу. Спина болит, но лассо давит теперь меньше, и можно дышать. Уле выплевывает воду.

И тут он слышит истерический вопль Эрлинга:

— Лосось! Где мой лосось? Ты его выпустил, мошенник!

Эрлинг, точно сумасшедший, бросается вниз вдоль стремнины и, пробравшись среди валунов, исчезает за поворотом реки. Уле с ухмылкой смотрит ему вслед.

Внезапно снизу мчится Салар. Пес обнюхивает хозяина, прыгает на него, радостно лает. Он, видно, услышал, когда заорал Эрлинг. Уле освобождает лассо и, словно в дурмане, бредет вверх, к дому. Но Салар снова бросается вниз, вдоль стремнины.

Что бы это значило? Почему пес побежал в том направлении и не захотел идти с ним домой? Странно. Надо бы, пожалуй, пойти и посмотреть, в чем дело.

Но сперва необходимо сменить одежду. Он уже так промерз, что едва передвигает ноги.

Когда Магган подошла к маленькому и глубокому омуту в нижнем течении реки, рассчитывая спасти Уле, она вместо мужа увидела огромного лосося, которого несло вниз по стремнине, вертело и кружило в завихрениях, порой затягивая вглубь. Войдя в воду, Магган зацепила лосося багром. Потом подтянула его к берегу, между двумя большими камнями.

В этот момент появился Салар. Виляя хвостом и бурно лая, он всячески стремился показать, что следует идти обратно, туда, откуда он только что примчался.

Магган не знала что и думать. Почему Салар так себя ведет? Не обнаружил ли он хозяина где-то повыше на стремнине? Возможно, Уле сидит, прижавшись к какому-нибудь камню, не в силах выбраться на берег?

И она неуверенно бредет вслед за собакой.

Внезапно показывается Эрлинг. Он как безумный мчится меж камней и, запыхавшись, возбужденно кричит:

— Уле уже дома. Но лосось! Гигантский лосось!

В отчаянии он смотрит на камни и бурные воды стремнины. Потом снова кидается вниз как безумный, вглядываясь в реку, спотыкается, падает, сажая синяки. И ревет в исступлении:

— Лосось! Мой великан...

Эрлинг скрывается за валунами, и его отчаянные вопли тонут в гуле потока. Глаза Магган принимают хитрое и лукавое выражение, и, как только Эрлинг удаляется на почтительное расстояние, она, схватив лосося, оттаскивает его в березняк, хорошенько прикрывает ветвями, затем прямиком направляется домой.

Уле уже сменил одежду. И он рассказывает жене о том, как поймал своего исполина, как потом выпустил его из рук, чтобы тот не достался Эрлингу, и как Эрлинг, точно помешанный, носится и ищет эту рыбу.

— Я не думаю,— заметил он с улыбкой,— чтобы Эрлинг смог его найти.

Магган подвигается вплотную к мужу, гладит его мокрые волосы и говорит уверенным тоном:

— Нет, он его не найдет. Лосось надежно припрятан.

Уле недоуменно смотрит на жену, потом произносит, заикаясь:

— Ты... ты...

— Да, да, сама его поймала. Я прихватила лодочный багор, чтобы вытащить тебя, если затянет в омут. Ведь из этого водоворота самому не выбраться. Но вместо тебя я зацепила лосося. А теперь бери мешок и сходи-ка за рыбой.

Через полчаса гигантский лосось лежит у Уле в подвале, хорошо завернутый в просторный мешок; а Эрлинг тем временем мечется в лодке по Большому омуту, ищет пропавшего лосося.

Выпив горячего кофе и как следует перекусив, Уле изучает рубец, образовавшийся на поясе от лассо. Веревка так сдавила тело, что след от нее вздулся, будто толстая тесьма. Магган осматривает его лопатку. Кроваво-красный шрам от удара, когда-то нанесенного Эрлингом, лопнул как раз посредине. Магган смывает спекшуюся кровь, накладывает на рану большой пластырь — так же, как тогда, в день их свадьбы, потом осматривает спину, но, кроме синевато-зеленого пятна, других повреждений нет.

Ночь позади. Взвалив на плечи тяжелый мешок, Уле отправляется к Эйлифу, плотнику-лодочнику, что живет чуть

выше Большого водопада. От тяжелой ноши ломят руки и спина. Эйлиф пьет кофе. В окно он замечает Уле. Тот останавливается на дворе у новой лодки, достроенной на днях. Уле внимательно осматривает лодку, проверяет шпангоуты, покачивает корпус, дабы убедиться, нет ли в днище дефекта.

Что ж, отличная лодка! Вполне подходящая для Каменного омута. И совсем легкая, поднять ее против сильного течения будет не очень трудно. Да и устойчивость на воде, как видно, будет надежной.

Эйлиф выходит на двор, и Уле достает свою добычу. Эйлиф, широко раскрыв от удивления глаза, поднимает рыбу за жаберные крышки.

— Крупнее лосося не видывал,— говорит он.— И тяжелее рыбу не приходилось поднимать. Не меньше тридцати кило.

Он идет в сени и приносит безмен.

— Тридцать с половиной! Знаешь, Уле, это рекорд Большого водопада. Теперь ты попадешь в газету.

Но Уле совсем неохота в газету. Когда об этом узнает Эрлинг, у него зародятся подозрения и дело окончится новым ударом ножа. Кто знает, на этот раз, может, без промаха.

Нет, нет, Уле не хочет в газету.

Некоторое время он стоит молча. Раза два покашливает, затем поворачивается к Эйлифу и тихо бормочет:

— Обменяем так на так? Рыбу на лодку?

Эйлиф вздрагивает, вид у него не совсем довольный: такое предложение он, видимо, не считает удачей. Вдобавок к лососю надо бы подкинуть крон сто, не меньше.

Но вот в глазах у него зажигается задорный огонек, и он произносит, скорее, шепчет хриплым голосом:

— Тогда... если обменяемся, значит, рыбу поймал я? Здесь, на стремнине? Сегодня ночью?

Уле пожевывает во рту табак, стоит в глубоком раздумье. Наконец отвечает:

— Что ж, скажем так.

Они пожимают друг другу руки, и час спустя лодка уже стоит у причала Уле в Каменном омуте.

Гигантский лосось, которого Эйлиф поймал в ту ночь, был сфотографирован для газеты, и скоро все о нем заговорили. На Большом водопаде появился новый замечательный рыбак, искусный мастер на самую крупную рыбу. Что же касается новой лодки, которую приобрел Уле, то уже на следующую ночь ее окропили свежей лососевой кровью, и, как положено любой рыбацкой лодке, от нее стал исходить едкий запах рыбы.

Некоторое время спустя после этих событий я сижу в гостях у Уле с Магган и пью кофе. Только что Уле рассказал мне эту историю во всех подробностях. Я спрашиваю, все ли прошло без последствий, не схватил ли он воспаления легких, ведь он здорово продрог, нечеловечески устал.

— Конечно, устал,— отвечает Магган, посылая мне лукавый взгляд.

Затем, отодвинув в сторону чашку, нагибается над потертой клеенкой кухонного стола и доверительно шепчет мне на ухо:

— Знаешь, в то утро я зачала ребенка. После двух долгих лет ожидания.

Ее карие, как у белки, глаза светятся гордостью. Они буквально сияют. И теперь я сам вижу, что правы старики, утверждая, что по блеску в глазах женщины можно определить, когда она беременна. Еще до того, как она сама об этом узнает. И сейчас, глядя Магган в глаза, мне было трудно ошибиться.

— Да,— шепчет Уле, смущенно глядя в окно.— Так оно, видно, и есть!







Пожарный дозор

Съев последний кусок ветчины и начисто обсосав шкурку, Антти поворачивается к мусорному ведру, что стоит у железной печурки. Шкурка, описав изящную кривую, шлепается прямо в ведро. Антти, отодвинув от себя тарелку, громко рыгает, и взгляд его из окна устремляется вдаль, туда, где видна неясная полоска горизонта.

Но вот он внезапно замирает, фиксируя глазами какую-то точку. Антти прищуривает левый глаз — так он делает, когда целится в тетерева или глухаря,— потом берет бинокль и, выйдя наружу, усаживается на одну из четырех скамеек, расположенных вокруг его стеклянного дозорного домика; облокотясь на специальные упоры, внимательно всматривается вдаль.

Нет, это не пожар. Должно быть, дымка или низкое облако. К тому же очень далеко — похожая на дым завеса стоит где-то там, в глубине норвежской территории. Значит, не его забота!

Антти переходит с одной скамейки на другую, изучая всю линию горизонта и лесные просторы в четырех направлениях. С середины лета стоит сухая и теплая погода; сезон рыбаков и туристов в полном разгаре, и можно ожидать чего угодно.

Плохо загашенный костер, неосторожно брошенный окурок — и огонь быстро разбежится по сухому вереску и мху. Расстояния огромны, леса густые и нерасчищенные, дорог же мало, и они очень плохие. Прежде чем пожарные команды прибудут на место, пожар разойдется вовсю.

Антти утешает себя тем, что сюда, на оголенную вершину, пламя все равно не перекинется, даже если вокруг и будет полыхать пожар. Ведь тут одни голые камни. Чуть ниже, словно венок вокруг крутой макушки горы, разбросаны кривые и надтреснутые пни, сосны в человеческий рост с наклоненными к земле ветвями, черные от бородатого лишайника, развеваемого на ветру. Отдельные сосны подбираются к самой круче, их видно из окошечка дозорной сторожки. Чуть дальше книзу деревья растут уже чаще, и у ключа под северным обрывом — он не пересыхает даже в зной — стоит совсем густой подлесок.

Нет, лесные пожары, за которыми он призван наблюдать, его не очень-то волнуют. А вот к пожару, что приходит сверху, от грома и ослепительной молнии, Антти относится с большим почтением. Гром — это проклятье господа бога, а молния — его мощный удар хлыстом. И поражает этот хлыст того, кто вызвал раздражение господнее. Случается, предупреждающий удар приходится на голую вершину по соседству, и бьет всевышний с такой силой, что во все стороны летят осколки камня. В такие минуты голова у Антти тяжела, как свинец, а тело какое-то вялое. И не раз, бывало, от страха он делал в штаны.

Говорят, что смолистые пни на склоне — это остатки стройных сосен, пораженных когда-то проклятием божьим. Их расщепило и сломало потому, что поднялись они высоко, слишком близко к самому создателю.

Каждый раз, когда бушует гром, а вспышки молнии, будто светящиеся ножи, прорезают дозорную сторожку, Антти сидит и думает: «А не падет ли сейчас на меня кара? Ведь никогда не знаешь, где же он теперь, наш всемогущий. Он капризен, и самые удивительные вещи могут прийти ему в голову».

Конечно, гром — это сущий ад, особенно если ты один. Он ужасен потому, что ты ничего не можешь с ним поделать, не можешь ни укрыться, ни спрятаться. Говорят, что молния обычно ударяет в высокие деревья, крутые склоны, в высокие вершины.

Боже храни Антти, сидящего в своей стеклянной клетке!

Люди говорят — бог держит гром и молнию в руках и длинным перстом указывает им путь. Возможно, это и не так, и Антти сможет как-то пережить кошмар. По крайней мере в этот раз.

Но не только гром и ослепительно белая молния делают жизнь в сторожке кромешным адом. Ветер, буря, ураган бывают не менее мучительны, а страх перед ними долго не проходит. В худшие минуты маленький домик дрожит, словно бы-

линка. Правда, стальные оттяжки и солидные крепления кажутся надежными, но вдруг со временем оттяжки проржавеют и лопнут в штормовую ночь? Сторожка покатится кубарем вниз, и Антти, и стол, и бинокль, и жесткие деревянные нары, и маленькая печурка — все будет сброшено с уступа и, кантуясь, превратится в лепешку. У Антти переломает руки-ноги, и много-много дней он будет лежать без помощи, ведь редко кто зайдет сюда, в сторожку. Голодный, томимый жаждой, он будет обречен на мучительную, медленную смерть.

А может быть, Ритва, ворон, поймет, что тут стряслось, и слетает в поселок за помощью? Но если и поймет, то как объяснит людям? Ведь любой бездумный человек может просто пристрелить птицу!

Ритва — единственный друг Антти, больше ему не с кем поговорить. За последние годы он стал почти совсем ручным. Ворон охотно поедает рыбью кожу, сухие хлебные корки, тухлое мясо и зеленую от плесени колбасу, которые Антти кидает на помойку. Когда Ритва очень голоден, то случается, он подходит совсем близко, метра на два, но чаще старается держаться чуть подальше.

Ворон получил свое прозвище по имени официантки из туристической гостиницы в ближайшем городке. Обычно Антти раз в году отправляется в гостиницу, где можно поесть и выпить на славу. Ему подает Ритва, она знает, что он любит, и никогда не берет с него слишком много, хотя обмануть того, кто не умеет ни читать, ни считать, совсем немудрено. Ритва проста и приветлива, она всегда найдет время немного поболтать. Потому-то он и прозвал ворона в ее честь.

Они понимают друг друга, Антти и ворон Ритва, разговаривают каждый на свой манер, обмениваясь жизненным опытом. Один, насколько может, помогает другому проклинать существование, когда оно бывает трудным и невыносимым, и вместе наслаждаются жизнью в те редкие минуты, когда им кажется, что все-таки стоит жить. Они не просто друзья в обычном смысле слова, но и зависят друг от друга, влияют друг на друга и каждый по-своему стараются помочь один другому.

Ритва тоже, конечно, не любит гром и молнию, и в эти часы птица бесследно исчезает. Но когда дело еще только идет к непогоде, к дождю, буре или снегопаду, птица всегда предупреждает: ведет себя очень неспокойно, кричит и каркает, носится взад и вперед, совсем ничего не ест.

И Антти знает, что надвигается буря. Он осматривает домик, проверяет оттяжки и крепления, затворяет окна. Потом наполняет термос свежим кофе, забирается на нары и хорошенько натягивает на себя оленью шкуру; так же он поступает при сильных раскатах грома. Вручив свою душу милости божьей, он лежит и страдает, думает о том, что жизнь есть сплошной, бесконечный кошмар.

Но затем, когда снова светит солнце, а вымпел на шпиле стеклянной сторожки недвижно свисает вниз, тогда можно жить. Кофе опять приносит наслаждение, пусть он даже сварен на старой-престарой гуще, а прогорклое масло лишь придает хлебу еще большую остроту. Работа пожарного дозорного — это, собственно, даже не работа; надо только сидеть и понемногу посматривать по сторонам, хотя, конечно, лучше быть начеку: всегда может позвонить брандмейстер и проверить, на месте ли ты. Но это, конечно, ничто по сравнению с тем, как потеют в летний зной лесорубы, окруженные к тому же тучей комаров. Или же кто день и ночь ловит рыбу, вытягивая одни пустые сети. Нет, ему-то жаловаться грех.

И все-таки!

Порой он видит довольно странную картину. Пни и приземистые старые сосны внизу, на крутом склоне, вдруг начинают шевелиться. Как тени людей, они качаются вправо и влево, но так и не сходят с места. Кажется, будто идут люди, чтобы проведать его в сторожке, но никак не могут взобраться на крутой подъем к вершине. Все это старые друзья, которых он уже встречал внизу, в отеле. А может быть, и те, с которыми работал много-много лет назад, вместе гнул спину, и теперь они хотят его проведать, освежить былые встречи, скрасить ему проклятое одиночество.

Но им никак не подняться в гору, они лишь качаются внизу, под обрывом, жестикулируют, раскидывая ветви, словно птицы с подстреленными крыльями, прячут в черный бородатый лишайник смущенные лица.

И все-таки они шевелятся, временами даже танцуют плавный, как волны, танец эльфов. А в другой раз представляют собой медленно ползущую массу, в которой тревожно мерцают таинственные огни.

В такие минуты Антти думает: «Почему они все же не поднимутся? Почему не хотят поздороваться со мной? Ведь это мои старые друзья. Когда-то мы делили с ними радость и печали. Болтали о всякой ерунде, обсуждали какие-то проблемы. Почему бы нам теперь не посидеть? Хорошая вышла бы разрядка, утеха для страдающей души.

Но все эти фигурки, что пляшут и танцуют под горой, никогда до меня не доберутся. Я ведь знаю, что это только пни да скрюченные горные сосны, уже умершие или почти мертвые. Но когда я вижу, что в них просыпается жизнь, и чувствую, что между нами есть что-то общее, хотя и пролегла большая пропасть, становится немного не по себе, начинает казаться, что эти люди, старые друзья, уже не хотят иметь со мной дела. И меня охватывает ярость. Хочется выбежать наружу, схватить топор и срубить их все до последнего и так покончить с этим дьявольским спектаклем. Я обрету тогда покой, останусь один в своем одиночестве.

Но я не выхожу наружу, не бросаюсь к ним навстречу с топором. Ноги словно пригвоздило к полу, я не в силах двинуться с места».

К концу июля жара спадает. Погода теперь неустойчива, дождь и солнце, ветер и штиль то и дело сменяют друг друга, но большей частью идет дождь, земля промокает насквозь, а батарейки приемника давно уже утратили последние признаки жизни. Антти утешает себя тем, что теперь каждый день будут лить дожди и опасность пожара становится все меньше. С каждым днем Антти все чаще мечтает об отеле, скрывшемся за зеленью где-то внизу.

Как-то утром, после того как ночь напролет шел дождь, он чувствует, что не может уже больше ждать, и отправляется в путь. Сбегает по склону меж карликовых березок и сосенок, которые, раскачиваясь, дружно кричат ему хором:

— Антти, Антти, скорей возвращайся назад!

Ворон Ритва, провожая его вниз, тоже кричит ему вслед:

— Остерегайся, Антти! Остерегайся, Антти! Там опасно, там опасно!

Антти обещает быть осторожным. Ведь он не какой-нибудь пьяница, никогда не хватит лишнего. Клянется собственной честью. И Ритва так доволен, что провожает его вниз к большому лесу. Ведь ворон знает, что скоро и ему достанутся свежие и вкусные объедки.

До гостиницы идти далеко, больше двадцати километров. Правда, к подножию горы подходит плохонькая лесная дорога, но Антти никогда не брал такси, он и понятия не имеет, как заказать машину. К тому же надо слишком много денег, пришлось бы отдать все, что есть у него в кармане.

Надев лучший костюм, Антти весь путь проходит пешком. Дорога не утомляет, и еще до того, как в отеле появляются первые вечерние гости, он уже занимает свое место.

Войдя в ресторан, Антти направляется в самый отдаленный уголок. Он хочет тишины и покоя, чтобы наблюдать других людей, слушать, как беседуют они между собой. Но говорить с ними сам он не желает и потому стремится сесть подальше, не привлекая к себе внимания.

Сегодня четверг, а по четвергам официантка Ритва работает в вечернюю смену. Это одна из самых старых официанток в отеле, ей уже больше сорока, но наверняка еще нет пятидесяти. Войдя в зал и заметив Антти, Ритва радостно улыбается и приветливо с ним здоровается. Антти приятен ей не только потому, что он бывает осторожен с алкоголем и никогда не заказывает больше, чем ему позволяет карман, но и оттого, что вся его застенчивость кажется Ритве какой-то очень привлекательной. И чем больше она его узнает, тем выше его ценит. Сама

она из простой семьи, и то, что он такой неотесанный и немного наивный, ее отнюдь не смущает, Ритва видит в нем человека большой души.

Антти сидит застенчивый и пристально вглядывается в меню, не будучи способен прочитать, что же там написано.

— Тебе, наверно, жаркое,— говорит Ритва.— И суп, конечно.

Антти кивает, не поднимая головы. Но когда Ритва идет на кухню, он провожает взглядом ее плотную фигуру, пока она не скроется за дверью.

Проходит всего несколько минут, и Ритва появляется с маленьким подносом, на котором стоит большая рюмка.

— Пропусти-ка глоток для аппетита,— говорит она.

Антти неловко сжимает кривыми пальцами тонкую ножку рюмки. Рука дрожит, и несколько драгоценных капель проливаются мимо.

— Будь здоров, Антти! — говорит Ритва.— Приятно снова тебя видеть. Давненько ты нас не навещал.

Антти смотрит на нее смущенным взглядом, подносит рюмку к губам и, подмигнув, опрокидывает ее содержимое. Согревающий напиток обжигает горло, на всем пути его до самого желудка сосет и покалывает внутри.

— Ну как, хорошо? — говорит Ритва, одаривая Антти приветливой улыбкой и думая о том, что в Антти при всей его бедности есть какое-то особое внутреннее благородство.

Принеся жаркое, Ритва наливает еще одну стопку, хотя Антти ее и не заказывал. Но скованность его уже исчезла, он смело и открыто встречает взгляд Ритвы. Поднимая рюмку, чувствует, что рука уже не дрожит, и он опорожняет ее до половины. Потом набрасывается на жаркое.

Немного погодя Ритва приносит порцию картофеля. Антти уже допил водку. Подкладывая ему на тарелку две большие, почти совсем белые картофелины, так мало похожие на черные и мороженые клубни, которые он ест у себя наверху, Ритва продолжает разговор:

— Ну, как там, на горе? Скучновато?

— Да, немного.

— И даже поговорить не с кем?

— Как же, можно, с Ритвой. Да и с другими тоже.

— Ритва? Кто же это такая?

— Ворон.

— Ах, вот как. Ты значит, назвал его Ритвой? Очень мило.

— Да, конечно.

Ритва смотрит на него и от души смеется. Неожиданно кладет ему руку на плечо и говорит:

— Знаешь, Антти, ты такой симпатичный и приятный...

— Правда?

Ритва отдергивает руку и, отступив шаг назад, от души смеется. Но вот лицо ее становится серьезным, и она спрашивает:

— Ты сказал — с другими. Кто это такие?

Антти смущается, не знает, что ответить, и, опустив глаза, снова берется за еду. Как-то нервно и рассеянно берет пустую рюмку, но, заметив, что она пустая, тут же ставит ее на стол.

Постояв еще немного у столика, Ритва исчезает и возвращается с третьей рюмкой. Антти прекращает есть, смущенно смотрит на нее и одним глотком отпивает половину.

Ритва продолжает стоять молча. Потом снова спрашивает:

— Другие, сказал ты?

Антти ножом посылает себе в рот здоровенный кусок мяса. Тщательно прожевав его и проглотив, он наконец отвечает:

— Ну, правда, сказал, но тебе это, наверно, не понять.

— Так это люди, которые приходят к тебе в гости?

Антти снова принимается за мясо, глотая кусок за куском. Так вкусно он давно уже не ел.

— Н-нет, ко мне никто не ходит. Ни одна душа. Только вот Ритва.

— Но ты же сказал — другие?

Антти продолжает есть, с явным удовольствием набивая себе рот, поразительно ловко поддевая ножом большие куски мяса.

— Да, другие — это те, что не могут подняться наверх. Они прыгают и пляшут на склоне, чуть ниже домика, прямо под обрывом, но вот ко мне никак не доберутся.

Ритва не трогается с места, в глазах ее можно прочесть недоумение. Антти продолжает есть.

— Я толком не могу тебе все это разъяснить,— говорит он наконец.— Чтобы понять, ты их сама должна увидеть.

В зал входят два новых посетителя, и Ритва направляется к ним. Когда она снова подходит к Антти, он подчистую покончил с едой и на тарелке не осталось ни крошки.

— Хочешь кофе? —спрашивает Ритва.

— Конечно.

Вместе с кофе Ритва приносит большую рюмку коньяку. Антти смотрит на коньяк в полной растерянности.

— Это тебе от меня,— поясняет Ритва и уходит, чтобы заняться другими гостями, которые все время прибывают.

Антти смакует коньяк и отпивает кофе. Он думает о том, что иногда, не так уж часто, жизнь все-таки бывает чертовски хороша. А когда Ритва включает радио и зал наполняет красивая мелодия, последние безумные недели на горе становятся почти забытым прошлым.

Улучив момент, Ритва подходит к Антти и спрашивает, хорошо ли ему.

Да, он чувствует себя отлично.

Какое-то мгновение Ритва стоит молча, словно что-то обдумывая. Затем спрашивает:

— Послушай, Антти. Пожалуй, я с удовольствием тебя бы навестила. Посмотрела бы, как ты живешь там, на горе. А?

У Антти кружится голова. Мысли смешались, он не знает, что сказать, и только посылает Ритве долгий и недоуменный взгляд.

Ритва заглядывает ему прямо в глаза. Ее ждут другие посетители, и она снова повторяет свой вопрос.

— Да, да, конечно,— невнятно бормочет Антти, не в силах выдавить больше ни слова.

Он рассчитывается, потом идет в лавку и на оставшиеся деньги покупает продуктов. Затем отправляется в обратный путь к горе, в свой дозорный дом, на границе между небом и адом. Кружится голова, и он идет как во сне, но усталым себя не чувствует. Временами, когда слова Ритвы поют в его ушах, у Антти такое чувство, будто он парит над тропой, чуть не летит над ней. Всю дорогу он будто в трансе и не успел опомниться, как уже стоит перед стеклянной будкой на горе. Но сегодня перед ним не просто будка, а дворец, господская усадьба высоко под облаками, и, быть может, его смутные сны станут теперь реальностью. Тогда вы, замшелые пни и поросшие лишайником сосны, будете танцевать и прыгать что есть мочи, приветствуя Ритву в бешеном свадебном танце. О добрый создатель! Неужто это возможно?

По старой привычке Антти раза два обводит биноклем горизонт, затем ложится спать и видит сны — самые красивые сны, какие когда-либо снились одинокому пожарному дозорному в далеком глухом лесу.

На другой день снова светит солнце, и всю следующую неделю стоит сухая, теплая и ветреная погода. Опасность лесных пожаров снова возрастает, и Антти уже не позволяет себе много спать. Будильник звонит теперь круглые сутки через каждые полтора часа.

Поначалу все идет хорошо. Поход в гостиницу придал ему бодрости, к тому же каждый день он может ждать прихода Ритвы. Антти помылся и стал поддерживать в доме чистоту. Он обязательно угостит ее кофе, и он чистил и драил кофейник, как только мог. А две его кофейные чашки и одно-единственное блюдце никогда не были так чисты, как в эту неделю ожидания. Правда, и чашки и блюдце были от разных сервизов, но Антти к этому так привык, что сам того и не замечал. А в бумажном пакете он припрятал несколько пирожных, чтобы достать их, когда придет Ритва.

Но Ритва заставляла себя долго ждать. И он ждал. То и дело выходил на небольшой уступ, откуда открывался вид на лесную дорогу и тропу. Правда, тропу почти не было видно, ведь Антти был единственным, кто изредка по ней ходил. Но все же

это была тропа, а в конце лесной дороги, где тропа начиналась, даже стоял указатель.

Однажды, когда Антти целый день наблюдал, как танцевали пни и приземистые сосны, он неожиданно увидел из окна, как среди танцующих деревьев по склону поднимается Ритва. Выскочив в дверь, он помчался к краю обрыва.

Но Ритва уже исчезла, виднелись лишь пни и сосны, такие тихие и безмолвные в своем вековом сне, будто мрачные статуи людей.

Он крикнул: «Ритва! Ритва!»

Тотчас же, крича и хлопая крыльями, примчался ворон, надеясь получить какую-то подачку. Антти неохотно пошел в дом, принес твердую, как камень, корку хлеба, швырнул ее птице. Ворон Ритва, подхватив корку на лету, полетел к источнику. Если корка бывала слишком твердой, он держал ее немного под водой, и только после этого приступал к еде. Мелкие крошки на дне родника могли рассказать о находчивости птицы. Раза два, спускаясь с ведром за водой, Антти и сам наблюдал, как ворон размачивает корки.

Усталый и подавленный, Антти вернулся в дом и, не раздеваясь, повалился на нары. Но заснуть он не мог, его снова стала мучить бессонница. Лежа в полудремоте, он ясно слышал тиканье будильника и голодное карканье ворона на крыше. И вдруг он явственно увидел, как вдоль края обрыва своей энергичной походкой движется Ритва — настоящая Ритва, с ее доброй улыбкой и приветливым взглядом, высокой грудью и широкой спиной. В руке она, как и всегда, держала сумку. Антти мигом очнулся, вскочил и так стремительно выскочил в дверь, что напугал ворона, и тот взлетел, издавая сердитые скрипучие крики.

Но от Ритвы и след простыл.

Сны эти с каждым днем становились все более назойливыми. Все чаще и чаще он видел, как Ритва взбиралась по склону среди танцующих и прыгающих пней, а раза два наблюдал, как и она принималась танцевать вместе с ними внизу, под обрывом. Но когда он выбегал и звал ее, тут как тут, широко раскрыв клюв, появлялся все тот же ворон. Танец внизу прекращался, и Ритва, настоящая Ритва, превращалась в замшелую сосновую колоду, всю обожженную когда-то мощным ударом молнии.

Однажды вечером, когда раскаты грома сотрясали все вокруг, а свет молний проникал даже сквозь толстую оленью шкуру, у Антти вдруг совсем пропало чувство страха. Прямой удар молнии в домик был бы даже желанным: он мог бы навсегда положить конец проклятому одиночеству, вечной, бессмысленной тоске. Антти, как всегда, лежал на нарах, судорожно сжимая грязную подушку. Он к этому давно привык, и, когда божье проклятие сотрясало гору, а хлыст господний,

словно раскаленная борозда, стегал меж стволов старых сосен, он был рад, что есть хоть подушка, к которой можно прильнуть.

Когда гроза миновала, он поднялся с нар. Как в дурмане налил себе из термоса кофе. Вот бы пропустить теперь настоящую стопку такого коньяку, каким Ритва угостила его внизу, в отеле.

Она все чаще и чаще являлась его взору и стала в конце концов почти что ежедневной гостьей в его стеклянной будке. Он видел, как, отделившись от танцующих пней, Ритва подходила к нему, приветливо улыбаясь. Но когда он здоровался с ней и протягивал руку, она внезапно исчезала. Ему становилось страшно, он начинал бегать и искать ее за домиком, среди пней и приземистых сосен. Но все они стояли тихо-тихо, и стоило позвать ее, как с криком прилетал все тот же ворон.

Но вот однажды Ритва появляется вдруг в дверях, добрая и веселая, краснощекая и разгоряченная после крутого подъема. Войдя, она поздоровалась, приветливо улыбнулась и, засмеявшись, спросила, как он тут поживает. Извинилась за то, что так долго не приходила. Что-то ей там помешало.

Он протянул ей руку, и в тот же миг Ритва исчезла. Он выскочил, обежал вокруг домика, промчался среди пней. Но на его зов откликнулся лишь ворон.

С тяжелой головой, совсем уже не в силах ясно мыслить, Антти снова опускается на нары. «Черт побери! До чего же все это странно! Проклятый ворон, он становится сердитым каждый раз, когда приходит Ритва. Похоже, он ревнует, и визиты Ритвы ему не по душе. Он яростно носится взад и вперед, кричит и совершает удивительные пируэты. Быть может, именно черная птица так напугала Ритву?»

Внезапно Антти осенила идея. В следующий раз, когда сюда придет Ритва, он запрет ее в будке. Тогда уж она не сбежит! И проклятый ворон ее не испугает!

Далеко к юго-востоку виднеется серое облачко. Антти хватает бинокль. Да, это дым, там, впереди, лесной пожар, и притом очень большой.

Покрутив раза два ручку телефона, Антти снимает трубку. Ни ответа, ни даже слабого фона. Гробовое молчание. Он пытается снова. Нет ни звука.

Повертев ручку с полчаса, он оставляет попытки. Где-то на линии, видно, обрыв; возможно, свалилось дерево и потянуло за собой провод. Попытаться исправить повреждение было его обязанностью, но на это уйдет целый день, а то и два. А за это время может прийти Ритва. Нет уж, будь что будет. Забыв про телефон и про лесной пожар, он снова растянулся на нарах.

Прошло несколько дней. Сны и видения Антти приходили и уходили, а промежутки между ними становились все короче.

Запасы провизии кончились, но он этого даже не замечал, не испытывал ни голода, ни жажды. Кофе оставалось совсем немного, и эту малость он припрятал на случай, если придет Ритва. Да и пакетик с пирожными он еще не раскрывал. Кофейник был до половины наполнен старой гущей, и последние два дня приходилось кипятить его не меньше получаса, чтобы из этой дубильной кислоты выжать хоть намек на привкус кофе.

Пожарную вахту он почти забросил. Правда, по старой привычке время от времени обводил биноклем горизонт, но большей частью валялся на нарах в полудреме, из которой вообще теперь не пробуждался. Будильник он совсем остановил: жесткое тиканье его стало невыносимым. Часами, взведенный словно пружина, он мог лежать не шевелясь, мечтая услышать быстрые шаги на тропе и осторожный стук в дверь. Ритва много раз являлась у него перед глазами. Но стоило Антти подняться, как она мигом исчезала и ее светлая улыбка, красивые приветливые глаза просто растворялись. Сам же он едва держался на ногах, боль в мышцах и суставах становилась невыносимой.

Ворон тоже вышел из своего привычного распорядка. Он не получал больше еды. Антти нечего было ему дать. Часами ворон сидел теперь на домике и каркал. Нередко он расхаживал по крыше, и когти громко скрежетали по железу. Иногда он подлетал к окну и смотрел на Антти своими черными, как смоль, и умными глазами. В такие минуты он не издавал ни звука, а просто висел в воздухе как некий безмолвный привет, зловещее напоминание о мрачном и суровом мире...

В один из солнечных дней, когда синее небо кажется таким высоким, а в воздухе стоит полное безветрие, снова приходит Ритва. Антти слышит ее частые шаги по голому камню горы и, затаив дыхание, ждет, когда она тихонько постучится в дверь. Но никакого стука нет. Просто отодвигается щеколда, дверь раскрывается настежь, и на пороге появляется Ритва, живая и реальная, с задорными пытливыми глазами и озорной улыбкой на губах. Щеки ее почти багряные, высокая грудь так и ходит от тяжелого дыхания. В руках у нее маленькая сумка — все точно так же, как он видел уже много-много раз.

Антти с трудом поднимается на ноги и делает неуверенный шаг. В голове у него дурман, все вокруг ходит ходуном.

Ритва заходит внутрь.

— Здравствуй, Антти! — говорит она.— Никак вот не могла к тебе выбраться. Ты ждал меня?

— Да, конечно.

— Видишь ли, внезапно умер мой отец, и дома на меня свалилось множество забот.

— Понимаю.

Она протягивает руку. Антти быстро хватает ее, и от этого первого в своей жизни соприкосновения с теплом ее тела он чувствует себя особенно взволнованным.

— Как ты похудел,— говорит Ритва, окидывая его пытливым и немного удивленным взглядом.— Ты болен?

Антти не в силах ответить. Рука начинает дрожать, по телу проходит судорога. Кровь ударяет в голову, и кажется, что сосуды вот-вот должны лопнуть. Ведь он никогда еще не держал Ритву за руку, а она никогда не разговаривала с ним так долго, тепло и приветливо. Внезапно ясная, отчетливая мысль пронзает его сознание — теперь-то Ритва наконец пришла. Совсем не та, что являлась во сне, а настоящая, ведь перед ним уже не видение, а живая, настоящая Ритва, полнокровная и совсем земная, та самая, что угощала его коньяком, а затем сама спросила, можно ли прийти проведать его туда, в дозорный домик на горе.

— Да, да,— неловко отвечает он, но мысли беспорядочно витают в голове. Антти замечает, что отчаяние и холод, тоска и одиночество постепенно отпускают ту смертельную хватку, которой они держали его все лето.

— Да, да,— продолжает он,— я ждал тебя. Жду уже целую вечность.

Ритва смотрит на него чуть смущенная, потом окидывает взором комнатушку — печурку, столик, ружье в углу, нары, покрытые протертой оленьей шкурой.

Антти замечает, что оцепенение в теле проходит. Он знает, что на этот раз Ритва пришла всерьез.

— Да, да, я каждый день выходил тебе навстречу. Но ты, видно, была так занята.

Ритва смотрит на него удивленными глазами. Но теперь Антти разошелся во всю. Он разводит в печурке огонь, потом выбегает наружу и выплескивает из кофейника старую гущу. Собираясь наполнить его водой, он замечает, что ведро совсем пустое.

— Ах, да,— говорит он, доставая кофейные чашки и раскрывая пакетик с пирожными.— Я сбегаю сейчас за водой. Вниз, к роднику, под самым обрывом. Одну минутку!

Схватив ведро, он выскакивает наружу. Но, сделав два шага, внезапно возвращается, запирает дверь и вынимает ключ. Затем скрывается под обрывом.

Услышав, что Антти запирает дверь и вынимает ключ, Ритва замирает от неожиданности. Страха она не испытывает, ведь с внутренней стороны есть щеколда и, если ее повернуть, дверь сразу откроется. Но зачем же Антти запер дверь? Чтобы держать ее в плену, пока он сбегает за водой? А когда вернется обратно, он тоже запрет эту дверь? Хочет ею овладеть? Тут, почти под самым небом? По ее воле или же против?

Она изучает его странные чашки и блюдце, все они какие-

то треснутые, от разных наборов. В пакетике, который он раскрыл, лежат зеленые от старой плесени пирожные. Нары забиты оленьим волосом. Ритва думает о том, как Антти изменился, какой он бледный, худой и неухоженный. Он так странно говорит, взгляд рассеянный, глаза бегают. С ним что-то происходит, может, он немного помешался? Вдруг она пугается, ей становится страшно. Оторвав клочок бумаги, Ритва выводит на нем несколько слов, хотя и знает, что Антти читать не умеет. Потом достает из сумки небольшую бутылку и ставит ее на стол. Открыв дверь, она выбирается наружу и спешит по тропе вниз, в сторону лесной дороги, бежит, спотыкается и, поднявшись, снова бежит, пока наконец не достигает леса. Вскоре она у такси, оно ждет ее на дороге.

— Антти болен,— говорит она удивленному шоферу, который только что растянулся на переднем сиденье, чтобы немного соснуть.— Антти нужна помощь. Поехали!

Возвращаясь обратно с ведром, Антти так торопится, что вода плещется во все стороны. Лишь подойдя к самому домику, он замечает, что дверь раскрыта настежь. Он останавливается, тонкий и худой, длинноволосый и небритый, широко раскрыв глаза и превращаясь в один из тех сухих замшелых пней, которые осмелились подняться слишком высоко, прямо к домику на вершине горы, и, будучи застигнуты лучами утреннего солнца, застыли неподвижно, точно тролль.

С минуту он стоит не шелохнувшись, затем, обронив ведро, стремглав бросается в домик. Обнаружив, что Ритва исчезла, выбегает наружу, спотыкается и падает, снова поднимается, весь в синяках и подтеках. Громко зовет Ритву, голос его звучит, как крик истомленной души.

Тотчас же, каркая и хлопая крыльями, появляется ворон. Он настолько голоден, что подлетает к Антти ближе, чем когда-либо прежде, носится прямо над головой, приближается к лицу и, растопырив черные когти и широко раскрыв клюв, издает свои хриплые «крру-крру».

— Ритва! Ритва!

Чем больше Антти зовет Ритву, чем больше он выходит из себя, тем смелее становится ворон, и кажется, что он тоже зловеще шипит:

— Ритва! Ритва! Это я и есть!

Антти, будто защищаясь, размахивает кулаками, кричит своему другу и мучителю:

— Проклятое воронье! Поганый воришка! Гадюка адова!

Обезумев от горя и боли, он направляется в домик, хватает ружье, целится в ворона и стреляет. Эхо летит по лесам и болотам, и лишь там, на повороте лесной дороги, ударившись о дверь автомобиля, оно замирает совсем.

Антти снова бредет в свою сторожку, в изнеможении падает на нары и погружается в глубокий сон. У раскрытой двери, распластав крылья, с потухшим взором лежит ворон Ритва, из полураскрытого клюва тонкой струйкой сочится темная кровь. На столе стоит маленькая нераспечатанная бутылка популярного финского коньяка Яволиина, а под ней лежит клочок бумаги, вырванный из старого журнала. На бумаге дрожащим почерком написано:

«Спасибо за встречу. Ритва».







Ю́овна

Мы стоим в узком проливе между островом Хюоамайсоуло и берегом озера и не устаем забрасывать блесну в надежде, что когда-то должна клюнуть крупная форель.

— Вот здесь на глубине обычно ходит форель,— говорит Ю́овна.— Мне попадались тут рыбы на шесть-семь кило.

Ю́овна знает, что он говорит. Уж сколько лет он бродит по просторам Финмаркского нагорья, и вряд ли кто знает лучше его эти бесчисленные речушки и озера. Огромное озеро Иешъяврре на самой крыше голого пустынного нагорья — это и есть его дом.

Но сегодня рыбу как ветром сдуло. А может, ей просто неохота клевать; только хариус, и то какой-то мелкий, время от времени берет блесну. Но для Ю́овны такая рыба не добыча — хариуса не засолишь и не продашь, и он швыряет его снова в воду или бросает тут, на берегу, как лакомство лисицам и воронам.

Дует резкий северо-западный ветер. От рукоятки и катушки спиннинга коченеют пальцы. На юго-востоке едва виднеется тысячеметровая гора Вуорьегайсса, ее снежная вершина почти сливается с мрачным и серым небосводом. Но ведь в такую-то погоду обычно и должна брать крупная форель.

Ювна не спеша бредет вдоль берега. На нем сапоги, кожаные брюки, синяя саамская кофта со стоячим воротником и круглая кожаная кепка с клапанами для ушей, которые бурно развеваются на ветру.

— Гасадак,— произносит он, кивая в сторону востока, направляясь прямо к лодке.

Вычерпав воду, сталкивает лодку на воду и садится на весла. Мы огибаем северную оконечность Хюоамайсоуло, и взору открывается простор огромного озера. До самого отдаленного залива в Гасадаке, лучшем месте рыбалки на всем Иешъяврре, будет с десяток километров. Но лодка наша с низкими бортами — довольно странное смешение речной лодчонки и морской шлюпки, к тому же ветер будет дуть нам в бок. Удастся ли проплыть это расстояние и не зальют ли волны низкие борта, отправив нас прямехонько на дно?

Ну что ж, ответ на это может дать один Ювна. Видать, не в первый раз ему приходится плыть, когда штормит, а сверху хлещет дождь да мокрый снег.

Первые два-три километра все идет нормально. Но вот крепчает ветер, и белопенные гребни вокруг поднимаются выше и выше. Острый силуэт горы Вуорьегайсса совсем скрывается из виду, а удары волн о левый борт все нарастают. Ювна немного разворачивается в направлении ветра, и облако брызг обдает его с головы до пят. Кепка на нем так и блестит, лоб и брови намокли, а под носом все время висит капелька воды. На мне надеты фетровая шляпа, плащ-дождевик и прорезиненные брюки, и дождь меня особенно не беспокоит.

Погода становится хуже, проливной дождь перемежается со снегом. Берега почти не видно. С каждым резким ударом волн о борт лодка содрогается, боковая качка становится угрожающей. Лодка то взлетает высоко над водой, то погружается в глубокую впадину. Нам остается лишь крепко вцепиться в борт, с тревогой ожидая новой волны.

Когда вода перехлестывает через борт, я начинаю энергично ее вычерпывать. Но черпак у Ювны очень тяжелый, он вырезан из целого куска дерева, пользоваться им трудно, да и вмещает он слишком мало.

Все чаще и чаще волны переливают через борт, я не успеваю вычерпывать воду.

Проклятый черпак! Совсем негодный, он до бессмысленного мал. Тут бы надо большое ведро.

Внезапно вспоминаю про шляпу, она ведь из толстого, солидного фетра. Быстро снимаю ее, опускаюсь на колени, чтобы лучше держаться при сильной качке, и начинаю черпать воду шляпой. Это помогает, по крайней мере уровень воды в лодке не увеличивается, даже понемногу уменьшается. Зато голова у меня страшно мерзнет, а пальцы сводит от холода. Прошла всего неделя, как сошел лед и кое-где вдоль берега и в горах

еще виднеются полоски снега. А ведь на Иешъяврре даже в середине лета вода остается ледяной.

Справившись с водой, которая заливала лодку, я делаю передышку и отрываю взор от черпака. Юовна развернул лодку по направлению ветра и режет волны, они становятся все более высокими и грозными. Белопенные гребни так и бурлят, их буквально сдувают резкие порывы ветра. Все вокруг кипит и клокочет.

Я встречаю взгляд Юовны. Он сер и холоден, глаза ничего не выражают. Но губы так сжаты, что даже побелели.

Этот серый и холодный взгляд, крепко сжатые губы я уже однажды видел, когда Юовна провалился сквозь тонкий весенний лед. Не появись я поблизости, ему бы не выбраться из воды. Когда мы оказались с ним на берегу, он взял мою руку и так сжал ее, что захрустели суставы. Кстати, это был единственный случай, когда он пожал мне руку, хотя мы знакомы уже много лет.

Время от времени, в промежутках между сильными волнами и бурными порывами ветра, Юовна разворачивает лодку к востоку, в направлении длинного мыса южнее Гуовддала. Он знает, что там есть небольшая тихая бухта и, если удастся ее достичь, мы спасены. Но не успевает он и двух раз взмахнуть веслами, как набегает новая волна, и мне опять приходится пускать в ход шляпу.

Нельзя, однако, допустить, чтобы нас отнесло к островам Фавлель и Элли-Аслакль у истока Иешъяврре,— волны там так велики, что зальют нас и потопят. Плавать Юовна не умеет, ледяная вода на Финмаркском нагорье никогда не соблазняла искупаться. Да и сам я, в сапогах и плаще, да к тому же продрогший, вряд ли смогу много проплыть.

Иногда Юовна пытается немного грести в восточном направлении, но волны тотчас хлещут через борт, и я должен вычерпывать что есть силы. Не будь у меня этой шляпы, лодку скоро залило бы до краев.

Вдруг раздается крик Юовны. Я смотрю на него и внезапно замечаю, что берег рядом. Это как раз тот мыс, к которому он направлялся. У берега прибой швыряет волны на несколько метров вверх, но опасных камней или шхер не видно, и Юовна держится как можно ближе к суше.

Правда, кое-какие камни, конечно, есть, и мы видим их неясные очертания в виде серовато-бурых пятен. Но уровень воды достаточно высок, лодка перекатывается над камнями, и кажется, будто камни на огромной скорости проносятся мимо. Один из них слегка задевает дно, на другой Юовна натыкается веслом.

В тот момент, когда лодка минует южную оконечность мыса, я снова слышу крик Юовны. С силой налегая на весла, которые почти трещат у него под руками, Юовна разворачива-

ет лодку в восточном направлении и ведет ее в бухту. Набегает волна за волной, они захлестывают нас, и похоже, с левого борта встает сплошная стена воды. Я черпаю что есть мочи. Вода в лодке уже наполовину затопила сапоги.

И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, вокруг становится спокойно. Мы вошли в бухту, и нас лишь слегка покачивает на волнах. В лодке на полметра воды, сам я по пояс мокрый.

Продолжаю вычерпывать воду, Ювна гребет в глубь бухты и заводит лодку в самое тихое место; на берегу густой березняк, и мы сможем развести желанный костер.

Час спустя огонь уже пылает, а мы построили себе нехитрое укрытие от ветра. Развесив одежду для просушки, варим кофе. Ювна молчит, как мышь, губы по-прежнему крепко сжаты, как и во время схватки со стихией. Но после первой чашки кофе язык приходит наконец в движение, и он произносит:

— Да, на этот раз чуть-чуть бы — и не пронесло.

Достав сушеной оленины, он нарезает несколько толстых кусков; опустив их в чашку и налив кофе, начинает жевать, хлюпая и чавкая. В сером и холодном взгляде появляются признаки жизни, движения становятся мягче и свободнее. И медленно, очень медленно расходятся сжатые губы.

— В другой раз тоже было почти на волоске,— говорит он, когда в чашке уже не остается ни кофе, ни оленины, и, не отрываясь, глядит на яркое, танцующее пламя.

Он долго не произносит ни звука, и кажется, будто разбегается для нового прыжка. Ювна — самый молчаливый и замкнутый человек, какого я когда-либо встречал. Он может ходить часами, даже целый день, не говоря ни слова. Но мы понимаем друг друга. Слова бывают иногда излишними, особенно когда ты странствуешь под многомильной крышей Финмаркского нагорья. Они только препятствуют полету мыслей, которым так свободно и вольготно в тиши пустынных мест. И мы тогда ходим молча, наслаждаясь голым и суровым краем, прислушиваясь к ясным трелям воробья, который, взмыв над низкорослыми березками и повисев немного в воздухе, снова садится в вереск.

Но поскольку мы почти не говорим друг с другом, я так мало знаю о самом Ювне. Правда, кое-что я слышал от других, но большей частью это были просто сплетни, и я особого значения им не придавал. Почти все считают его бездомным чудаком-бродягой, у него нет друзей, он странствует всегда один. Никто не слышал, чтобы Ювна сам раскрыл рот, если только к нему не обратятся.

Но если случится что-то необычное, например опасность, или что-нибудь иное произведет на него сильное впечатление, Ювна начинает говорить как раз в тот момент, когда ослабе-

вает скованность и напряженность. Но долго это не длится, и собеседник узнает лишь частные и маловажные детали его жизни.

Как раз сейчас и наступил один из таких моментов. Я с нетерпением жду, что будет дальше. Внезапно снова раздается его голос:

— Мы как-то гнались за медведем, который задрал овцу у Ассебакта. Нас было двое — Аслак и я. Аслак сделал выстрел, и мы услышали, как медведь заревел. Наверное, его ранило.

С нами была собака, и в глубине березняка она вдруг стала громко лаять. Стояла середина лета, и рощица была такой густой, что метрах в двух впереди уже ничего не разглядеть. К тому же всюду много валунов. Мы осторожно пробирались меж деревьев, собака лаяла где-то совсем близко, и мы знали, что впереди медведь. Предстояла опасная охота, почти игра со смертью. Но мы были молоды — я только что женился, а охота такой интересной.

Я шел впереди, готовый выстрелить в любой момент. Мы подходили все ближе; по лаю слышно, что собака осадила зверя. Может, медведь уже мертвый или он сильно ранен и не в состоянии уйти от погони? К тому же медведя вовсе не было слышно, даже малейшего его урчания.

И мы осмелели. Я пробирался мимо большого валуна, и в этот момент на меня пошел медведь — с широко раскрытой красной пастью, большими белыми зубами, дышал он часто и громко сопел. Его маленькие и острые, как колючки, глаза я никогда не забуду, в них можно было прочитать смертельный страх, слепую ненависть и вместе с тем какую-то угасшую надежду. Взгляд этот и сейчас стоит у меня перед глазами. С тех пор я не убил ни одного медведя.

Но в тот раз я действительно висел на волоске от гибели.

Едва успел поднять ружье и, сунув ствол прямо зверю в пасть, нажать на спусковой крючок. Тут же отпрянув назад, я почувствовал страшную боль в животе. Потом все почернело.

Придя в себя, я обнаружил, что лежу в лодке. В паху сильно болело. Помню, что меня рвало желчью. Потом я снова потерял сознание.

Наконец меня доставили в больницу и сделали операцию. Позднее я узнал, что медведь разнес лапой внутреннюю часть бедра и сорвал всю мошонку.

Это было последнее, что зверь успел совершить,— уже мертвый он упал на меня и вдавил мое тело в вереск. Всю грудь мою залило медвежьей кровью, и Аслак с трудом перевернул звериную тушу.

Мы были женаты всего месяц, и, когда я вернулся домой и рассказал Сири про свое несчастье, она пришла в отчаяние. Она

так мечтала иметь детей; когда мы поженились, Сири говорила, что жизнь без детей не жизнь. Но что я мог поделать? Я думал, мы могли бы взять на воспитание ребенка, как обычно делают, когда сами не могут иметь детей. Но Сири ни за что не соглашалась. Ей хотелось своего ребенка, собственной плоти и крови. А уж если женщина вбила себе что-то в голову, то с этим ничего нельзя поделать.

Мне было ее очень жаль. Я хорошо понимал ее, ведь она вышла замуж, чтобы иметь детей, и вдруг это стало невозможно. Такое нелегко перенести.

Наступило трудное время. Первые дни она только плакала, плакала безутешно. Казалось, она больше грустит о ребенке, чем о муже, пусть бы зверь и разорвал его в клочья. Но все же она меня любила и всячески старалась мне это показать. Она ведь понимала, что я ни в чем не виноват, произошло нелепое несчастье. Она лежала рядом по ночам, тесно прижавшись ко мне всем телом, как это обычно делают женщины, когда они чего-нибудь боятся или чувствуют себя несчастными, хотела, чтобы я ее любил.

Но случалось также, она ругалась, говорила, что я был неосторожен на охоте. У нее началась бессонница, а примерно месяц спустя она стала тихой и какой-то странной.

Поверишь ты мне или нет, но она купила себе большую куклу и стала ухаживать за ней, будто за живым ребенком. Шила на нее одежду, клала к себе в постель, болтала, как с живой.

Однажды Сири приготовила кукле еду и пыталась ее накормить. Это было ужасное зрелище, скажу я тебе.

Я много раз пытался уговорить ее взять ребенка, но она и слушать не хотела. Если уж у нее будет ребенок, то только собственный. Или вообще никакой.

Потом нам уже не о чем было с ней говорить, и большей частью мы ходили не говоря ни слова. Мои нервы тоже стали не выдерживать. До ближайших соседей было далеко, и Сири часто не знала, куда убить время.

Ко мне она была по-прежнему добра и всячески старалась показать, что любит меня. А после того как появилась эта кукла, она даже немного успокоилась.

И все-таки, понимаешь ли, эта кукла была для меня самым страшным. Я ее просто не выносил. Из-за нее что-то стало в доме не так, и каждый раз, возвращаясь домой и видя эту куклу, я буквально приходил в бешенство, просто не мог слышать, как Сири болтает и возится с ней.

Я и сам стал каким-то странным. Не знаю даже, в чем дело, но мне казалось, что дом с этой куклой становится адом. Другие оленеводы тоже стали замечать, что со мной творится неладное, спрашивали, не болит ли у меня что или, может, мне трудно мочиться. И не заболел ли я вообще?

И вот как-то я не выдержал и, когда Сири пошла к ручью стирать белье, разрубил куклу на мелкие кусочки и сжег то, что могло гореть. Сделав свое дело, я даже успокоился.

Когда Сири возвратилась в дом и спросила, где кукла, я рассказал ей правду.

У нее помутнело в глазах, и я испугался, что она потеряет последние остатки рассудка. Сири закричала так, словно кто-то вонзил в нее нож, бросилась к печке и вытащила то, что оставалось от куклы. Называла меня убийцей, угрожала сообщить в полицию.

Она ничего не ела, лишь выпила глоток кофе, но и его тут же вырвало обратно.

Тот день и ту ночь я никогда не забуду.

Он замолкает, протягивает руку к кофейнику, чтобы налить еще одну чашку, но кофейник пустой, и он еще крепче сжимает губы.

Я наливаю в кофейник воды и подкладываю дров, но, прежде чем вода закипает, проходит время, и Ювна как бы теряет нить рассказа. Мы пьем одну чашку кофе за другой, заедая олениной и сыром. Но Ювна замкнулся. Напряжение спало, он опять стал молчаливым.

Шторм все продолжается, и мы долго остаемся в маленькой бухточке. Возможно, целые сутки. Когда солнце не светит и стоит такая мгла, что не видно вершины горы Вуорье, трудно определить время суток, потому что день такой же светлый или, вернее, серый, как и ночь.

Мы пытаемся рыбачить, но рыба почти не клюет. Проходим к истоку Ликеашокка, и нам удается за несколько часов поймать трех-четырех щук, больших и алчных, как акулы. Весят они восемь — десять килограммов, а две из них — все пятнадцать. Ювна вытаскивает их на берег, закалывает и щедрой рукой дарит лисам и воронам. Щуку не продашь, говорит он, ее даже и съесть нельзя!

Мы рыбачим, спим, едим копченую рыбу и пьем кофе. Бродим по берегу каждый по отдельности, словно безмолвные тени в сером и нереальном мире, но все равно мы зависим друг от друга. Именно здесь, запертые в маленькой и мелкой бухте, как никогда прежде, мы чувствуем какое-то внутреннее единство. Нам очень хорошо, жизнь кажется удивительно осмысленной, надежной и спокойной.

Когда на сером небосводе появляются просветы и ветер меняется на южный, мы плывем в направлении Гасадака. И там, у берега, близ устья небольшой речушки, каждый из нас вылавливает по крупной форели. «Это лосось»,— говорит Ювна. Иешъяврский лосось с блестящими боками, серебристым брюшком и нежно-розовым великолепным мясом. Если эту

рыбу умело обработать, то за нее хорошо заплатят и в Альте и в Карашоке.

Глаза и лицо Юовны начинают светиться благодарностью.

В один из дней небо очищается от туч, в лучах яркого солнца Иешъяврре сверкает, как гигантское зеркало. Мы направляемся в дальний конец озера. Юовна собирается ловить гольца в небольшом озерке Оайвослуоббале, рядом с Иешъяврре. Чтобы попасть туда, нам надо пройти по широкому, но довольно мелкому каменистому протоку. Сейчас начало лета, уровень воды в стремнине еще высок, и риск налететь на камни пока невелик. Юовна сидит на веслах, направляя лодку носом вперед, я же внимательно наблюдаю за фарватером, чтобы предупредить его, если замечу опасные камни.

На перекате нас буквально втягивает на черную, будто бездонную стремнину. Скорость нарастает, и мы внезапно попадаем в объятия бурлящего белопенного потока. Лодку начинает раскачивать, справа и слева мимо нас у самой поверхности воды проносятся большие камни. Юовна то и дело ударяет веслами, чтобы дать лодке нужное направление, избегая камней, над которыми особенно пенится вода.

В животе сосет и ноет. Иногда я просто не успеваю подать Юовне знак, и тогда лодка перекатывается через большие камни. Я съеживаюсь, ожидая удара, который разнесет борт в щепы и перекантует лодку. Но камень проносится под нами, и все обходится благополучно.

Нас со стремительной скоростью мчит, а я жду, что вот-вот раздастся удар и наступит драматический конец путешествия по бурной, опасной стремнине. Время от времени, обернувшись и кидая взгляд на Юовну, я замечаю, как в уголках рта у него играет чуть заметная улыбка. Ему хорошо, такая жизнь его вполне устраивает, хотя он и не умеет плавать.

К лодкам и бурным стремнинам Юовна приучен с детства. Если бы не речки, заменяющие транспортные магистрали, жизнь на бездорожном Финмаркском нагорье была бы совсем тяжелой, а может быть, и невозможной.

Ниже на стремнине вода пенится по всей ширине протока, и над рекой выступает множество камней. Заметив камни, Юовна гребет, резко работая веслами. Но лодка мчится быстро, и он не успевает отвратить удар. А может, здесь очень узко. Внезапно я ощущаю небольшой толчок, какая-то невидимая сила подбрасывает меня вверх. Покинув лодку, я пролетаю по воздуху несколько метров и, мягко опустившись на воду, чувствую, как что-то больно бьет в левую руку, а ноги и колени скользят по дну. Но опасные камни уже позади, бурная стремнина кончилась. Я нахожусь на мелкой песчаной отмели, чуть ниже последних белопенных завихрений на Оайвокойкка.

Течение теперь уже не столь стремительно, я могу встать на ноги и пойти по дну, хотя это и нелегко. Вода по-прежнему

сильно давит своей массой, едва не достигая бедер. Я медленно направляюсь к левому берегу. Вскоре становится мельче и спокойнее. Наконец, промокший с головы до пят, без шляпы, я выбираюсь на прибрежные камни.

Осмотревшись, вижу, как Юовна ловит в тихой заводи мою шляпу. Лодка, похоже, не набрала воды и не получила повреждений. Когда меня выбросило из лодки, она стала такой легкой, что перекатилась по камню, не получив повреждений. Кто знает, что бы произошло, если б я остался сидеть на носу, крепко вцепившись в борта. Лодка уперлась бы в камень, и ее бы перевернуло, а ведь Юовна не умеет плавать.

Вытащив лодку на берег, Юовна показывает в сторону косогора, и я замечаю там лачугу из дерна, старую рыбацкую коту. Вот где найдутся сухие дрова.

Юовна не произносит ни слова. Глаза у него серые и холодные, губы крепко сжаты. Он разводит огонь, я надеваю сухое белье. Погода стоит теплая, ярко светит солнце, и через час одежда просохнет.

Кофе и оленье мясо делают доброе дело, и напряженность у моего спутника мало-помалу исчезает. О нашей неудаче он не обмолвился ни словом. Не хочет признавать, что ошибся, определяя уровень воды, и слишком рисковал. Если б он держался западного русла — старого и хорошо проверенного пути, такое не случилось бы. Юовна крепко испугался, это видно. Он боялся, что меня затянет вглубь, ниже песчаной отмели, и я не смогу подняться против течения.

Мы сидим, не разговаривая, а я все думаю, что, если бы лодку перевернуло и Юовна тоже оказался в воде, сидел бы он тогда сейчас рядом со мной? Или же я остался бы один?

Внезапно он произносит, словно читая мои мысли:

— Хорошо, когда ты одинок, не имеешь семьи.

Он больше ничего не говорит, снова погружаясь в раздумья, и я решаюсь задать ему вопрос:

— Но как ты остался одинок? Что случилось с Сири?

Какое-то время он продолжает сидеть молча, окидывая меня испытующим взглядом, возможно удивленный тем, что я ничего не знаю, но потом, единым махом опустошив новую чашку кофе, продолжает свой рассказ о Сири, начиная с того места, где он тогда остановился.

— Сири была чудесная девушка, одна из самых красивых на всем Финмаркском нагорье. Многие, очень многие бегали за ней. Когда бывал праздник или чья-то свадьба, где собиралось много молодежи, ей не было отбоя от ребят. Так по крайней мере говорили. Я-то на этих пирушках не бывал, все время проводил в горах, на рыбалке или же на охоте. И люди очень удивлялись, когда все чаще стали замечать нас вместе. Возможно, больше всех был удивлен я сам. Не знаю даже, как это получилось, все вышло само собой.

Когда мы поженились, то некоторые из ребят все же не упускали случая поухаживать за Сири, угощали ее конфетами, болтали всевозможный вздор, валяли дурака и все такое прочее. Видно, рассчитывали, что наши отношения не будут крепкими.

Один из них был особенно назойлив. Жил он... впрочем, какая разница, где он жил. Звали его Клеммет. Бедняга был по уши влюблен в Сири. Поначалу, до того как случилось это несчастье с медведем, мы над ним просто потешались. Вел он себя как дурачок, открыто выказывая свои чувства. Казалось даже, он немного глуповат.

Но вот наступила та адова ночь, когда я разрубил и сжег ее любимую куклу. Сири кричала, билась в истерике, а я лежал и думал: если так будет продолжаться, мы оба сойдем с ума. Сири уже почти свихнулась, да и я приближался к тому же. И хуже всего было то, что, несмотря на все, она меня попрежнему любила. Как бы ей ни было трудно, она и словом не обмолвилась о том, чтобы уйти и покинуть меня.

К утру я окончательно понял, что дальше так продолжаться не может, и зарядил ружье двумя патронами — по одному на каждого из нас, но вдруг на ум мне пришла странная идея. Совсем бредовая идея, но она крепко засела в голове, и я решил, что выход найден. И я сказал Сири, которая лежала, всхлипывая и дрожа всем телом, словно больной щенок.

— Ты, может, пойдешь к Клеммету. Пусть он поможет. Потом, если захочешь, можешь вернуться назад.

Сири мигом смолкла и скоро перестала дрожать, и мне казалось даже, что я слышу, как напряженно она думает. Иногда она так долго не дышала, что я начинал бояться, не случился ли с ней удар, не умерла ли она от своих переживаний.

Так она лежала долго, может целый час. Затем, приняв, видно, решение, придвинулась совсем вплотную, скрыла лицо у меня под мышкой. Не проронив ни слова, Сири уснула глубоко и проспала много часов подряд. Я же не мог заснуть, и разные мысли роились у меня в голове.

После этой ночи Сири стала гораздо спокойнее. Все время ходила молчаливая, о чем-то думала; могла внезапно отвлечься от своих дел и уставиться на меня широко раскрытыми глазами, словно очнувшись от сна. Возвращаясь домой, я нередко читал в ее глазах один и тот же недоуменный вопрос: всерьез я сказал те слова или же нет, да и вообще сможет ли она так поступить?

Неделю спустя я отправился далеко по делам и отсутствовал дома несколько дней подряд. Вернувшись усталый и голодный, я застал Сири нервной, возбужденной, почти что испуганной. Она не могла сидеть спокойно, болтая все время без умолку, внезапно бросилась мне на шею, стала ласкать и целовать. Совсем была на себя не похожа.

Я пытался понять, что с ней происходит, но я не спал уже двое суток и, едва перекусив, свалился, точно камень. Вскоре проснулся, почувствовав, что Сири тесно ко мне прижалась, но тут же снова уснул.

На следующий день Сири не была уже такой взвинченной, стала мягкой и ласковой, как в первое время после нашей женитьбы.

Было над чем призадуматься. Много всяких мыслей, мучительных и гадких, лезло мне в голову. Я пытался их прогнать, но это было трудно. Они снова возвращались.

Прошел месяц. Наступила пора выводить оленей на лесные пастбища, забивать слабых животных, да и других дел было много. Случалось, я не бывал дома целую неделю. И все это время я думал о том, как чувствует себя Сири, одна ли она сейчас.

Однажды вечером, возвратившись домой смертельно усталым после нескольких дней отсутствия, я обнаружил, что Сири опять переменилась. Теперь она была спокойной и веселой, глаза блестели, как в былые времена, на губах играла улыбка.

И снова нахлынули прежние мысли. Я стал без конца думать о том, к чему это может привести. В конце концов, очевидно, Сири от меня уйдет. И я решил, что если так случится, то для нее это, наверно, будет к лучшему. Она ведь имеет полное право жить нормальной жизнью, наша же совместная жизнь была не совсем естественна, с моей стороны было бы неверно удерживать ее рядом. И я решился. Пусть Сири поступает так, как хочет. Если она решила со мной расстаться и уйти к Клеммету, я мешать не буду. А сам я как-нибудь проживу, места на нагорье достаточно для всех.

Когда я поел, а Сири рассказала мне новости, я пошел отдохнуть. Сири мыла посуду, негромко напевая песенку. Раньше она никогда не распевала вслух, и меня это крайне удивило. И я решил, что она влюбилась в Клеммета, но я был такой усталый, что больше ни о чем не мог думать.

Закончив дела, Сири разделась и тоже прилегла, тесно прижавшись ко мне. Внезапно зарыв голову мне под мышку, чтобы я не видел ее глаз, Сири прошептала:

— Знаешь, у нас с тобой будет ребенок... Слышишь, у тебя и меня. Наверно, в середине лета...

Замурлыкав почти как котенок, она в ту же минуту заснула крепким сном. Сам я не мог заснуть, хотя и был смертельно уставшим. Многие мысли лезли мне в голову. Конечно, станет известно, что ребенок не мой, пойдут пересуды и сплетни, нам, видно, придется отсюда уехать. Не могу даже представить себе, что почти каждый день мне придется встречать человека, который является отцом моего ребенка. Долго такое не вынести, и это кончится катастрофой для всех нас. Если же я уйду от-

сюда один, Сири наверняка последует за мной. Чувствуя ее отношение, я в этом был почти уверен.

Куда же нам отправиться? В Каутокейно? А может, даже в Альту? Но тогда Сири окажется слишком далеко от родных, а ведь она поддерживает с ними тесные связи. Мне же придется наняться к богатому оленеводу или поискать другую работу. Ведь своих оленей у нас мало, чтобы мы могли прокормиться.

Потом я ни о чем не мог думать и тоже заснул.

В течение следующих недель случилось многое. Клеммет, который прежде и ноги не показывал в наш дом, стал частенько заглядывать в гости и оставался сидеть, как дурачок уставившись на Сири. Ее все это раздражало, она пугалась и шипела на него. А когда мне доводилось увидеть эту скотину, все внутри закипало. Мне очень хотелось выкинуть его вон, настолько я его не выносил.

Похоже было, что и Сири испытывает те же чувства. С нее, видно, было довольно. И ей хотелось решительно перечеркнуть то, что было между ними. Но парень этого не понимал. Сюсюкал, угощал конфетами. Он и мне однажды протянул угощенье, но я ударил его по руке, и конфеты полетели наземь. Сири от души рассмеялась, гость же, раскрыв от удивления глаза, сидел с идиотским видом. Когда я поднялся, чтобы вышвырнуть его в дверь, он перепугался и удрал. Позднее я коечто обдумал. Он ведь был влюблен, бедняга, и не стоило мне так расходиться.

Однажды, перед тем как выпал первый снег, я ушел в лес вместе с двумя оленеводами. Вот уже несколько дней я не был дома и ждал замену. Идти было еще далеко, и мы присели отдохнуть перед дорогой, напиться кофе. Я помню все так хорошо, будто дело было вчера.

Внезапно одна из собак, лежавшая у самого костра, напряглась и навострила уши. Затем мы услышали чей-то крик. Собака залаяла, мы стали отвечать кричавшему. Я был уверен, что подошел мой сменщик.

Но это был не он, а мой сосед, который раньше никогда не ходил на оленьи пастбища в лес. Он был весь мокрый после быстрой ходьбы и чем-то взволнован.

— Тебе лучше пойти домой,— сказал он, обращаясь ко мне.

Что-то больно сдавило мне грудь. Я был усталый и измученный, как и всегда после многих дней в лесу, и когда я поднялся, голова у меня закружилась, большие черные пятна запрыгали перед глазами. Пришлось опять опуститься на землю, чтобы прийти в себя.

Головокружение прошло, и я направился домой. Сосед остался в лесу, поджидая моего сменщика. Я шел очень быстро, а вскоре и вовсе побежал. Я понимал: с Сири что-то случилось. Наверняка что-нибудь серьезное. Возможно, случился выки-

дыш, и она истекает кровью. Или же Клеммет опять что-нибудь выкинул.

Когда я пришел домой, там было полно народу, большей частью женщины — мать Сири и ее сестра, жена соседа и еще несколько человек. У всех серьезный вид. Мать и сестра, видно, плакали, глаза у них красные. Никто не произносил ни слова. Точно молния, меня пронзила мысль, от которой даже перехватило дыхание,— с Сири случилось несчастье.

Я вбежал в дом. Посреди комнаты, на полу, лежала Сири. Она была мертва, я это понял сразу. В носу и на губах виднелась кровь, волосы были мокрыми, одежда тоже промокла насквозь. Кто-то опустил ей веки.

В глазах у меня почернело, стены и потолок заходили кругом. Помню только, что меня поддержали и усадили на стул. Потом принесли чашку и сказали, чтобы я выпил. Это была водка. Когда я проглотил ее, большие черные пятна исчезли.

В этот момент кто-то с шумом ввалился в комнату. Это были ленсман и один из полицейских. Подойдя к Сири, они внимательно ее осмотрели, затем перевернули на живот. Вся спина ее была в крови. Когда сняли с нее блузку, я увидел две глубокие ножевые раны — обе совсем рядом, со стороны сердца.

Ленсман стал снимать показания. Я узнал, что Сири стояла у ручья, стирая белье. Она ведь говорила мне, что затевает стирку, потому что ручей вот-вот покроется льдом. В обед пришла мать проведать Сири, она часто это делала, когда дочь оставалась одна. Мать обнаружила Сири внизу, у ручья; та лежала, завалившись вперед, и вся верхняя часть ее тела была под водой. Одежда пропиталась застывшей кровью, и даже вода в ручье была какой-то красноватой.

Когда мать вытащила Сири из воды, та была уже совсем холодной.

Мать побежала за помощью, попросила вызвать меня, а также ленсмана. Последний продолжал расспросы, и я слышал, как мать, громко плача, закричала:

— Это Клеммет, это Клеммет ее убил!

И все заговорили враз, перебивая один другого. Да, говорили люди, это, должно быть, Клеммет. А я лишь помню, как подумал про себя: значит, они все знают. Да и Сири наверняка рассказывала матери, что Клеммет к ней пристает, возможно, угрожает. Узнав, что Клеммет оставался дома как раз в тот день, когда я отправился в лес, она решила пойти к Сири. На случай, если ему придет в голову навестить ее дочь... Но опоздала.

Немного погодя стало известно, что Клеммет ушел из дому утром и обратно не вернулся. До сумерек оставался всего лишь час, и ленсман приказал мужчинам взять ружья и прочесать окружающую местность. С ними пойдет полицейский, чтобы руководить розыском.

Люди вернулись обратно, когда уже стемнело. Клеммета и след простыл.

В ту ночь я оставался у соседа. Я страшно горевал по Сири, она была прекрасным, честным человеком. Мягкая и нежная, такую девушку не часто встретишь в наши дни.

И все-таки, пусть это покажется вам диким, но где-то в глубине души я начал думать, что все это, быть может, к лучшему. После того несчастья на охоте жизнь наша с ней была довольно тяжелой, а в будущем она и совсем бы усложнилась. Больше детей Сири все равно бы не имела, как бы ей того ни хотелось. Мысль же о том, что наш единственный ребенок на самом деле вовсе и не мой, в дальнейшем все более меня терзала бы, и будущее стало бы для нас кошмаром. Мы слишком любили друг друга, и, видимо, поэтому все было так сложно и невыносимо. Не знаю, право, но именно так я думаю и по сей день.

Как это ни странно, Клеммета я даже жалел. Он любил Сири, просто с ума по ней сходил. И страшно ревновал, в какой-то мере он имел на это право. У меня было такое чувство, что я виновен в его судьбе и судьбе Сири. Я ведь сам предложил ей пойти к Клеммету, если она захочет, если она только сможет. Но кто же мог подумать, что это сведет его с ума, даст основания считать, что у него есть свои права на Сири. Когда же Сири не захотела с ним позднее знаться, он под воздействием безумной ревности смог совершить такое преступление. Да и кто знает, как бы поступил я сам, окажись на его месте.

На другой день тут собралось целое войско. Все имели при себе огнестрельное оружие, на многих лицах читалось волнение. А кое-кто был настолько напуган, что даже не пришел на розыски.

Лично мне это казалось смешным. Клеммет ни для кого не был опасен, разве что для себя самого. Как люди этого не понимали?

Всех удивило, что я отказался отправиться с ними стрелять, совершать кровавую месть. Я просто не мог. Мне эта массовая охота на несчастного человека казалась столь же несправедливой, как и охота на медведя, голодного зверя, который... может быть, задрал какую-то овцу.

Клеммета нашли только к обеду. Он повесился. Чуть-чуть выше того места над ручьем.

Закончив рассказ, Ювна подкладывает в огонь несколько толстых сучьев и сидит неподвижно, глядя на яркое пламя. Он выглядит каким-то старым, изможденным, хотя ему навряд ли больше сорока, ну максимум лет сорок пять. Лицо отмечено печатью горечи и грусти.

Может, мысли его снова возвращаются к той роковой охоте на медведя, он думает о том, что, не пойди тогда он на охоту, сидел бы теперь в кругу большой и счастливой семьи. Но с дру-

гой стороны, сказал же он совсем недавно, после приключения в стремнине, что хорошо быть одиноким и не иметь семьи, тогда ты не так дорожишь собственной жизнью. А ведь он знает, о чем говорит. В большей степени, чем кто-либо другой, он испытал однажды тяжелую ответственность за свою семью, и это едва его не сломило.

Ничто не нарушает тишины. Я переворачиваю одежду, чтобы она получше просохла. Юовна достает сушеную оленину, копченую форель и совсем старую и твердую, как камень, корку хлеба.

Я думаю о Сири. Думаю о том, как жил Юовна после ее внезапной смерти, когда остался вдруг совсем один. Наверное, в то время он решил навсегда уйти к Финмаркскому нагорью. На одиночество, на долгие бесцельные блуждания по равнине.

В конце концов я задаю так мучивший меня вопрос:

— И ты остался в одиночестве?

Юовна окидывает меня быстрым взглядом, застенчивым и неловким. Вся его стройная фигура как бы сгибается под тяжестью несчастья.

Он ничего не отвечает, снова ушел в свою скорлупу, и я жалею, что задал вопрос. Ведь мне давно известно, как осторожно надо спрашивать Юовну, касаясь его жизни и образа мыслей. Ты можешь его сразу оттолкнуть, и он тотчас замолкнет. А если он начнет рассказ по собственной инициативе, то вы можете узнать много интересного.

Чтобы отвлечь его от неудачного вопроса, я продолжаю:

— Надо, пожалуй, выпить кофейку?

Не дожидаясь ответа, я иду вниз, к реке, и наполняю чайник водой. Ноги у меня босые (носки висят и сохнут у костра), и мелкие острые камешки больно колят подошвы.

Выпив кофе и оставив у костра одежду, которая не совсем еще просохла, мы направляемся к реке, чтобы немного порыбачить. Клев неплохой, и нам попадается отличный голец. Именно тут, ниже стремнины Оайвокуойкка, всегда стоит голец, крупный и довольно жирный, совсем без червей-паразитов.

Такую рыбу Юовна солит и коптит. Она отлично сохраняется недели две, не меньше, и ее с удовольствием раскупают туристы в Карашоке. Полный рюкзак копченой рыбы даст неплохую выручку.

На солнце, у теплого костра и при легком ветерке моя одежда быстро просыхает, и мы продолжаем путь, преодолевая еще одну короткую стремнину. Наконец Юовна огибает мыс и заводит лодку в маленькую бухту в северной части озера. Там у него есть лодочный причал, где хранится часть его сетей.

Нацепив на спину рюкзаки, мы направляемся пешком на северо-восток. Юовна идет молча; мне кажется, где-то поближе к Халкке у него есть своя землянка или кота.

Мы идем по тропе, так мало приметной, что она то и дело пропадает в вереске. Проходит час. Солнце греет все сильнее, и жара становится мучительной. Мухи и слепни так и жужжат вокруг.

Перед невысоким голым пригорком наша едва заметная тропинка сливается с другой, более крупной тропой, идущей откуда-то с востока. Земля сейчас сырая, и кое-где заметны старые следы сапог.

Неожиданно Юовна замедляет ход и внимательно изучает тропу. Наконец находит свежие следы от каблуков, только меньших по размеру, чем наши.

Юовна идет дальше медленно и неуверенно. Мы огибаем пригорок и сразу оказываемся перед старенькой и ветхой котой. Над отверстием в крыше вьется слабый дымок.

Юовна резко останавливается. Почесав затылок, он что-то обдумывает. Потом медленно направляется к входному отверстию, которое прикрыто мешковиной.

Мы снимаем с себя рюкзаки, отодвигаем мешковину и залезаем внутрь. Там, по другую сторону догоревшего очага, сидит женщина. Она не молода, но и не старая. У нее черные, как смоль, волосы, темные глаза и пышная грудь. Лицо довольно широкое, шея обернута платком, прикрепленным серебряной булавкой типично саамского типа. Женщина красива и похожа на Юовну. Если б я не знал, что у него нет родных, то мог бы подумать, что это его родная сестра. А может, и двоюродная.

Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами, сначала удивленная, но затем с раздражением, почти что враждебно. На мое приветствие не отвечает, а говорит Юовне с заметным недовольством:

— Как долго тебя не было на этот раз!

Юовна ничего не отвечает.

На полу лежит свежесрезанная карликовая березка, а у двери охапка дров. Над тлеющими углями возвышается тренога для котелка. Позади женщины видны две оленьи шкуры, а около дров стоит несколько котелков. Это все, что есть в коте.

Мы присаживаемся на березовые ветки. Женщина наливает кофе. Он уже почти холодный и резко отдает горечью. Сахаром она, видно, не пользуется. Женщина спрашивает Юовну, удачной ли была рыбалка. Но он и на этот раз ничего не отвечает, продолжая сидеть тихо, как мышь, не отрывая взгляда от кофе.

Настроение в лачуге становится все более мрачным. Время от времени Юовна смущенно на меня посматривает. А я-то надеялся, что мне удастся переночевать тут у Юовны, но вижу теперь, что вряд ли из этого что-нибудь получится.

Выпив кофе, я благодарю и прощаюсь. Юовна еще раз кидает на меня быстрый взгляд. И если я правильно вижу в су-

меречном свете землянки, взгляд его глубоко несчастный, он содержит мольбу о помощи. Но может, мне это только кажется.

Последнее, что я вижу перед тем, как отодвинуть мешковину на двери,— это женщина у очага. Она сидит, положив ноги крест-накрест, выпрямив спину и шею, полная и хорошо сложенная, довольно красивая, с застывшим и решительным выражением на лице. И мне кажется, будто я вижу Будду, верховного властителя, который наблюдает за всеми страданиями на земле.

В голове у меня роится множество удивительных мыслей, там царит полнейшая неразбериха. Закинув рюкзак на спину, я оставляю Юовну в его новой, навязанной ему нирване *.

Впереди блестит огромная серебристая гладь Иешъяврре. А вокруг, насколько хватает глаз, во всей своей суровой и пустынной красе раскинулись просторы Финмаркского нагорья.

---

* Состояние полной отрешенности, ухода от реального внешнего мира.



Ханс Лидман — певец северной природы

Книга шведского писателя Ханса Лидмана «Звезда Лапландии» — одна из последних работ популярного и широко известного как в Скандинавии, так и далеко за ее пределами автора книг о природе, о людях далекого Севера, жизнь которых все еще зависит от щедрости окружающего мира.

Путь Лидмана в литературу был сложен и нелегок. Родившись в 1910 г. в небольшом местечке Свег, в шведской провинции Хэрьедален, Лидман и поныне живет и работает вдали от столичного шума, в тиши лесов Вокснадалена, в небольшом поселке Эдсбюн. Мальчику было всего три года, когда разорился и трагически погиб отец, незадолго до того основавший крохотную фабрику по переработке местной древесины. Семья познала глубокую нужду и лишения, детям пришлось рано оставить школу. С юношеских лет будущий писатель зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом.

После мирового экономического кризиса, разразившегося в начале 30-х годов XX в., Швецию охватила безработица. Оказавшись за пределами фабрики, молодой Лидман странствует по лесам Вокснадалена, изучает природу родного края. Много недель подряд живет в лесу, ночуя то на летних пастбищах, то в бараках лесорубов, наблюдает и изучает жизнь леса и его обитателей. Эти нелегкие, но счастливые годы, насыщенные обширными познаниями и яркими впечатлениями, дали богатейший материал для будущих книг писателя, они определили то направление в литературе, которому Лидман посвятил все свое творчество.

Стремясь выбиться в люди, Лидман поступил учиться в лесоводческую школу, а чтобы заработать на жизнь, устроился на соседнюю фабрику в ночную смену. И все эти годы он не оставлял мечты писать, рассказывать о родной земле. Добившись наконец хорошо оплачиваемой работы, он неожиданно для друзей и родных решает от нее отказаться и целиком посвящает себя литературному труду.

В начале 40-х годов Ханс Лидман выступил в литературе как автор очерков и статей о природе. С каждой новой работой он завоевывает все более широкое признание у читателей. В 50-х годах, когда в Швеции, как, впрочем, и в других Скан-

динавских странах, стала особенно популярна литература о природе и животном мире, имя Ханса Лидмана уже было хорошо известно массовому читателю. Охота и жизнь охотника, описанные через призму собственных увлечений, рыболовство, искусство художников-самоучек, жизнь человека на лоне природы, человеческие характеры и судьбы, история монастырей и сельских поселений — вот небольшой перечень тем, которым Лидман посвящает свой литературный труд.

Много превосходных работ вышло из-под пера Ханса Лидмана, но, пожалуй, наибольшую известность принесла ему книга «В лесу снежной совы», которая вышла в Швеции в 1960 г. и с тех пор выдержала много изданий. Это, по отзывам критики, одно из лучших произведений, когда-либо созданных в Швеции в жанре научно-популярной литературы о природе. Советскому читателю Лидман известен по книге «В лесах бескрайних», которая опубликована в русском переводе издательством «Мысль» в 1966 г.

Книги Ханса Лидмана издаются в Швеции и других Скандинавских странах большими тиражами, многие из них уже давно стали бестселлерами. Популярность Лидмана настолько велика, что книги его нередко выходят в соседних Скандинавских странах ранее, чем в самой Швеции. Настоящая книга, например, была впервые опубликована в Норвегии. И это понятно. В условиях бурного роста промышленности, процесса урбанизации населения, который охватывает все большее число стран, даже скандинавы, издавна жившие среди девственных лесов и озер и неизменно черпавшие в общении с природой бодрость и новые силы, оказались перед угрозой серьезных невосполнимых потерь. Ведь в других западноевропейских странах давно забыты те времена, когда житель крупного города мог за час-полтора добраться до тихого, нетронутого уголка леса или безлюдного, уединенного озера. Нет больше таких мест, они превращены в «культурные» парки, а пустоши застроены или перепаханы.

В самой Швеции, традиционно лесной державе, наблюдаются такие процессы, которые у всех ценителей природы вызывают острое чувство горечи и тревоги. В погоне за сверхприбылью частные компании ведут сплошные концентрированные рубки леса, оголяя даже водоразделы. Возникает эрозия почв, мутнеют и иссякают реки, когда-то полноводные источники энергетических запасов. Какой жестокий удар для обитателей лесов и полей, какой разрыв той мудрой и неповторимой, удивительной цепи, которую создала природа! Редеет животный мир, не услышишь больше на привычном месте многоголосый пернатый хор. Волк уничтожен почти повсеместно, в Швеции насчитывается теперь лишь... два волка. Росомаха еще встречается, но и ее становится меньше. Охотники пользуются ныне снежными мотороллерами на гусеничном ходу, или, как их

иначе называют, скиду, или мотонартами. От этих машин лесным обитателям нигде нет спасения. Рев моторов нарушает многовековую тишину, вызывая ужас и отчаяние любителей зимних ландшафтов. Такие машины становятся игрушкой в руках 16—18-летних подростков, которые сплошь и рядом гоняются за лосем или косулей ради развлечения. Конечно, после такой дикой погони животное почти замертво падает от изнеможения.

В защите прекрасных лесов родной земли и их обитателей видит Лидман свой гражданский долг. Даже чисто созерцательное описание животных и среды, в которой они обитают, само по себе дело нужное и благородное, и значение таких книг трудно переоценить, однако в последние годы в шведской литературе наметился переход к более активной борьбе за охрану всего живого на нашей планете, и среди активных защитников природы Ханс Лидман занимает одно из ведущих мест.

Лидман превосходно знает северные районы Скандинавии, так называемый Калóт, леса и плоскогорья Лапландии на стыке трех северных стран — Швеции, Финляндии и Норвегии, просторы Финмаркского нагорья, что спускаются к побережью Северного Ледовитого океана, район крупнейшего финского озера Инари. Вот уже двадцать пять лет он неизменно приезжает сюда летом, бродит по еще нетронутым лесам, изучает жизнь и быт небольшого народа — саамов, помогает людям косить сено, присматривать за оленями, ловить рыбу. Он тут желанный гость, и у него много-много друзей. Наблюдая суровый и нелегкий быт этих людей, постоянную борьбу с нуждой, а порой даже с голодом, Лидман проникается глубокой симпатией к жителям Лапландии. Своими повестями и рассказами — героями в них представлены вполне конкретные люди, которых писатель хорошо знает,— Ханс Лидман привлекает внимание широкой общественности стран Севера к тяжелому положению саамов, которые живут несравненно хуже, чем шведы, финны и норвежцы, хотя и являются гражданами этих стран и формально обладают теми же правами. Рассказы писателя глубоко проникнуты идеями гуманизма и любви к людям, они обличают социальную несправедливость и нищету.

Саамы — коренные жители Севера, свое происхождение ведут, по-видимому, с Зауралья. В настоящее время они живут в СССР на Кольском полуострове и в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии. Их современная численность составляет около 35 тысяч человек. Одна из этнографических групп саамского народа — саамы-сколты, живущие по берегам озера Инари. В языковом и культурном отношении они сближаются с другими саамами Инари и с саамами Кольского полуострова.

Саамов-сколтов особенно хорошо знает и любит Ханс Лидман, им он и посвятил многие свои повести и рассказы. В наши

дни молодежь покидает родные места, там остаются одни старики. Молодые люди не знают родного языка, утрачивают обычаи, забывают родную культуру, и поэтому Лидман считает, что саамы-сколты вряд ли могут сохраниться как особая этническая группа.

В целом же он отмечает, что в последние годы наблюдается рост национального самосознания саамов, живущих на шведской территории. Они ведут ныне официальную борьбу за возвращение им прав на исконно саамские земли, которые используются теперь в Швеции для промышленных и прочих нужд. Но у шведских властей — деньги и вся мощь судебного аппарата. Кто победит — право или сила? Положение саамов, по мнению писателя, в какой-то мере созвучно положению индейцев в Америке.

Действие в большинстве рассказов, вошедших в книгу «Звезда Лапландии», разворачивается в местах, где живут саамы-сколты. Человек и окружающий его мир, острые драматические ситуации, риск и опасность, коллизии человеческих характеров — все это делает рассказы Лидмана интересными и увлекательными.

Шведские критики, внимательно следящие за каждой новой работой Ханса Лидмана, неоднократно отмечали, что серьезное влияние на его творчество оказала русская классика. На полках в рабочем кабинете писателя стоят переводы лучших произведений русской и советской литературы, к которой он питает глубокое уважение. Член общества «Швеция — СССР», он особенно живо интересуется вопросами охраны природы в Советском Союзе, восхищается той работой, которая развернулась у нас в настоящее время. Не так давно писатель побывал на Кольском полуострове, в местах, так схожих с его любимой Лапландией. Возвратившись домой, он публикует книгу о поездке в СССР «Путешествие в солнце». Узнав о предстоящем выходе «Звезды Лапландии» на русском языке, Лидман заявил, что счастлив быть снова представленным советскому читателю.

Ханс Лидман в расцвете творческих сил. Напряженный труд заполняет всю его жизнь. Он не умеет лежать на берегу реки, загорая в яркий солнечный день, не знает, что такое отпуск. Вот и сейчас он готовит к изданию несколько разных книг одновременно — для Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Германской Демократической Республики. В этом году помимо СССР и названных стран его произведения выходят в Англии, Чехословакии, Венгрии. Все более широкий круг вопросов входит в литературные планы писателя. Пожелаем этому большому и неутомимому труженику новых творческих успехов.

В. ЯКУБ

Содержание

Лидман Х.

Х 19 Звезда Лапландии. Пер. с норв. М., «Мысль», 1976.

150 с. с карт.; 12 л. ил.

Имя популярного в Швеции писателя-натуралиста Ханса Лидмана известно советскому читателю по очеркам «В лесах бескрайних».

В новой книге «Звезда Лапландии» автор в художественной форме знакомит нас с малоизвестным районом Северной Финляндии — Лапландией. Перед нами жизнь охотников и рыболовов, их опасные путешествия по порожистым рекам, судьбы оленеводов и золотоискателей. Маленький народ саамы, целиком зависящий от капризов природы и живущий ее дарами, представлен автором ярко, вместе с их заботами и тревогами.

Л $\frac{20901\text{-}041}{004(01)\text{-}76}$ БЗ-74-12-75 **91 (И4)**

Лидман Ханс

ЗВЕЗДА ЛАПЛАНДИИ

Редактор Г. Е. Матвеева
Редактор карт З. А. Киселева
Младший редактор З. В. Кирьянова
Оформление художника А. Ф. Сергеева
Художественный редактор Е. А. Якубович
Технический редактор А. В. Третьякова
Корректор Т. М. Шпиленко

Сдано в набор 9/VII 1975 г. Подписано в печать 1/XII 1975 г. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Усл. печатных листов 11 с вкл. Учетно-издательских листов 10,96 с вкл. Тираж 60 000 экз. Заказ № 3267. Цена 77 коп.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

77 коп.




Ханс Лидман